



Амброз Бирс

Диагноз смерти (сборник)

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=614145

*Диагноз смерти: Рассказы / Пер. с англ. С.Б. Барсова. : Центрполиграф; Москва; 2003
ISBN 5-9524-0216-X*

Аннотация

В сборник знаменитого американского писателя Амброза Бирса (1842—1914?) включены сорок пять рассказов, большинство которых впервые публикуется на русском языке.

Все они отличаются напряженностью сюжета, развивающегося, как правило, в крайне необычных обстоятельствах.

Содержание

ПИСЬМО ОТ ПЕРЕВОДЧИКА ЧИТАТЕЛЮ	4
Пастух Гайта	6
Тайна долины Макарджера	10
Пантеры глаза	16
I	16
II	18
III	20
IV	23
Незнакомец	24
Живший в Каркозе	28
Взыскующий	31
Смерть Альпина Фрейзера	36
I	37
II	39
III	41
IV	44
Страж покойника	48
I	48
II	50
III	52
IV	54
V	57
Мужчина и змея	59
I	59
II	61
Конец ознакомительного фрагмента.	62

Амброз Бирс

Диагноз смерти: Рассказы

ПИСЬМО ОТ ПЕРЕВОДЧИКА ЧИТАТЕЛЮ

Не стану пересказывать Вам биографию Амброза Бирса. Во-первых, Вы без труда отыщите ее в монографиях и других сборниках Бирса, во-вторых, на паре страниц не больно-то распишешься, а биография у него богатейшая. Писать же о большом человеке мелким шрифтом просто нехорошо.

Скажу лишь, что переводить Бирса было трудно. И дело тут не в языке его и не в сложной, скажем, композиции рассказов. Язык у Бирса простой и ясный. Да и в композиции он без нужды не изощряется, а нужда такая возникает нечасто. Дело в том, что он может взять совершенно водевильную ситуацию и начать рассказ таким, знаете ли, разухабистым языком, а закончить самой настоящей трагедией. А что такое трагедия, Бирс знал не понаслышке: ему была судьба надолго пережить обоих своих сыновей.

И все-таки без некоторых кусочков его биографии нам не обойтись. У Бирса, надо Вам сказать, была привычка все доводить до конца, причем любой ценой. В 1961 году он ушел на гражданскую войну рядовым армии северян, а демобилизовался через четыре года в чине майора. Дослужился бы, наверное, и до генерала, если бы не тяжелые ранения. А служил он не у кого-нибудь, а у Шермана. Занявшись после войны журналистикой, он довольно скоро из простого репортера стал известным и влиятельным колумнистом, а затем – *de facto* главным редактором «Сан-Франциско Экзэминер», популярнейшей газеты американского Запада. Газетой же владел не кто-нибудь, а Херст. Литературное наследие Бирса собрано в двенадцать полновесных томов – это итог сорока с лишним лет творческого труда. Они издавались за счет автора с 1909 по 1912 год и вышли мизерным тиражом – 250 экземпляров, – но все-таки вышли. И здесь – то же стремление довести дело до конца, подвести итог.

У привычки доводить дело до конца есть и другая сторона, неотъемлемая, как аверс монеты неотделим от ее реверса. Это стремление начинать заново. Подтверждением этому служит вся жизнь Бирса: он работал и официантом в заведениях, которые иначе как кабаками не назовешь, и разнорабочим на кирпичном заводе, и рекламным агентом, и учеником печатника. Службу в армии он начал барабанщиком, а закончил офицером-топографом. Оставшись после войны не у дел, стал журналистом и писателем. Уже в семьдесят он отправился простым военным корреспондентом на новую гражданскую войну, в Мексику, где его жизнь, судя по всему, и закончилась. Он пропал, растворился. Никто не знает, как он погиб и где похоронен. А может, Бирс в очередной раз начал жизнь заново?

Но он «начал заново» куда больше, чем сам мог предполагать. В первую очередь я имею в виду по-репортерски краткие описания так называемых необъяснимых происшествий. Они составили целый цикл, и именно с них началась целая литература, отцом которой почему-то считают Чарльза Форта. Еще Бирс стал одним из пионеров – или вернее будет сказать «фронтиреров»? – научной фантастики. А проблема, за которую он взялся и, моему, блистательно решил, до сих пор считается одной из сложнейших: отношения человека и машины. Разумной машины. И о невидимости он написал за несколько лет до Герберта Уэллса. Учеников у Бирса не было, но учились у него многие. Я, например, никак не могу отделаться от впечатления, что с творчеством Бирса был хорошо знаком Александр Грин. Говард Лавкрафт, Рэй Брэдбери и Стивен Кинг не раз писали о том, что многим обязаны Бирсу.

Скажу еще несколько слов о сборнике, который Вы держите в руках. На сегодняшний день это самый «объемистый» Бирс на русском языке, хотя у книги малый формат и в нее вошли далеко не все рассказы мэтра. Более половины рассказов, которые мы Вам предлагаем – а всего их сорок пять, – никогда у нас не издавались, хотя, верьте слову, ни в чем не уступают тем, что считаются хрестоматийными.

О себе скажу лишь, что мне крупно повезло: переводить Бирса – более удовольствие, нежели работа. Смею надеяться, Вы скажете примерно то же, когда прочтете эту книгу.

Остаюсь всегда к Вашим услугам

Сергей Барсов

Пастух Гайта



Ни возраст, ни жизненный опыт еще не вытеснили из души Гайты юношескую наивность. Его помыслы были чисты и свежи – ведь жил он просто и честолюбие его не снедало. Вставал он вместе с солнцем и перво-наперво преклонял колена перед алтарем пастушеского бога Астура. Тот слышал молитвы Гайты и благоволил к нему. Отдав долг благочестия, Гайта отворял ворота загона и вел свое стадо на пастбище, откусывая то от куска овечьего сыра, то от овсяной лепешки. Временами он останавливался, чтобы сорвать несколько ягод, влажных от студеной росы, или глотнуть воды из ручья, бегущего меж холмов к реке, что текла по долине неведомо куда.

Долгими летними днями, пока овцы его щипали сочную траву, ниспосланную им богами, или лежали с поджатыми под себя ногами, перетирая зубами жвачку, Гайта сидел на камушке или в тени раскидистого дерева и играл на тростниковой свирели. И так прекрасны были его мелодии, что послушать их порой являлись из своих рощ маленькие лесные боже-ства. Гайта временами видел их, но только краем глаза: ведь стоит взглянуть на них прямо, их и след простынет. Это навело Гайту на мысль – ведь временами ему приходилось думать, чтобы не уподобиться своим овцам, – что счастье может быть лишь неожиданным, а если станешь искать его нарочно, нипочем не найдешь. Здесь еще надо сказать, что после благоволения Астура, которого никто никогда не видел, Гайта больше всего ценил привязанность своих застенчивых бессмертных соседей, населявших рощи, ручьи и озера. Ближе к вечеру он приводил стадо в загон, накрепко затворял ворота и шел к себе в пещеру – подкрепиться и отдохнуть.

Вот так и текла его жизнь, и ни один из ее дней не отличался от другого, если только кто-то из богов, чем-то разгневанный, не насылал бурю. Тогда Гайта забивался в самую глубь своей пещеры, закрывал лицо руками и молил гневного бога наказать его одного, а весь прочий мир помиловать. Иногда – после ливней – река выходила из берегов. Тогда Гайта уводил перепуганных овец на горные склоны и молил силы небесные пощадить жителей городов, лежащих, по слухам, на равнине по ту сторону голубых холмов, что сторожили вход в его родную долину.

– Ты очень добр ко мне, о Астур, – говорил он богу. – Ты создал горы, чтобы я с моим стадом мог там спастись от наводнений. Но ты должен как-то позаботиться и обо всем остальном мире, а то я перестану тебе поклоняться.

И Астур, зная, что слово юного Гайты твердо, щадил города и направлял воды к морю.

Вот так Гайта и жил с тех пор, как помнил себя. И другой жизни даже представить не мог. В глубине долины, в часе ходьбы от пещеры Гайты, жил святой отшельник. Он рассказывал юноше о больших городах, где у жителей – вот ведь бедняги! – нет ни единой овцы, но ни слова не мог сказать о тех временах, когда Гайта был маленьким и беспомощным, как только что родившийся ягненок. А ведь было же это когда-то.

Приходилось Гайте размышлять и о страшной перемене, о переходе в мир молчания и разложения. Он полагал, что и ему не миновать этой участи, и его овцам тоже, да и всем живым созданиям, кроме, разве что, птиц. После таких раздумий Гайта начинал считать, что судьба ему определена горькая и безысходная.

– Надо же узнать, откуда и как я взялся на свете, – говорил он себе. – Как мне исполнить свое предназначение, если даже не знаю толком, в чем оно заключается и кем на меня возложено? И как мне жить, если я не знаю, сколько еще продлится моя жизнь? Ведь может же так случиться, что страшное превращение постигнет меня еще до завтрашнего утра? Что тогда будет с моими овцами? А со мною самим?

Из-за мыслей этих Гайта сделался чернее тучи. Овцы больше не слышали от него доброго слова, да и к алтарю Астура он шел без особой охоты. В каждом вздохе ветра ему слышались шепоты злых божеств, о которых он прежде даже не подозревал. Всякое облачко казалось предвестником беды, а ночная тьма преисполнилась ужасами. А когда он подносил к губам свирель, сильваны и дриады уже не спешили послушать его, а уносились прочь от тоскливого воя, сменившего нежные мелодии – об этом можно было догадаться по сломанным веткам и примятым цветам. И за стадом своим он уже не следил с прежним тщанием, так что многие овцы сгинули, заблудившись в холмах. Те же, что остались, совсем захирели от бескормицы – ведь Гайта больше не искал для них новых пастбищ с сочной травой, а водил их на одно и то же место, да и то по привычке. Все мысли пастуха вертелись вокруг жизни и смерти – о бессмертии же он слыхом не слыхивал.

Но в один прекрасный день он прервал свои размышления, вскочил с камня, взмахнул рукой и воскликнул:

– Я больше не буду умолять богов о знании, которое они не желают мне давать! Пусть-ка они сами направляют путь мой. Я же буду исполнять предназначение в меру разума своего, а если ошибусь, так и виноваты будут они, а не я!

И стоило ему сказать это, как все вокруг озарилось ярким светом. Он глянул вверх, решив, что это солнце выглянуло в просвет меж облаками, но небо было безоблачно. Совсем рядом, буквально рукой подать, стояла чудесная дева. И так она была прекрасна, что цветы у стоп ее закрывались и склоняли головки, не в силах соперничать с ее красотой. Весь облик девы был исполнен такой сладости, что у ее глаз вились колибри, едва не касаясь ресниц своими клювиками, а близ губ роились дикие пчелы. Вся дева так ярко сияла, что от всего, что было вокруг, протянулись длинные тени, пляшущие при каждом ее движении.

Гайта был очарован. Восхищенный, он пал перед девой на колени, и она положила свою руку на его чело.

– Встань, – сказала она голосом, который был звонче всех бубенцов его стада. – Ты не обязан мне поклоняться: ведь я не богиня. Но если я уверюсь, что ты надежен, я останусь с тобою.

Гайта схватил ее за руку, но от радости слова не шли с его уст. Они просто стояли, держась за руки, и улыбались друг другу. Гайта не мог отвести от девы взора, полного обожания. Наконец он промолвил:

– Умоляю тебя, о прекраснейшая, скажи мне, кто ты, откуда пришла и зачем!

При этих словах дева приложила к губам палец и начала исчезать. Ее чудесный образ менялся на глазах, и Гайта задрожал. Он не мог понять, откуда эта дрожь – ведь дева была по-прежнему прекрасна. Все вокруг тоже переменялось, потемнело, словно какая-то огромная

птица простерла крыла над всею долиной. В этом сумраке очертания девы размылись, а когда она заговорила, Гайте показалось, что голос ее, полный печали и укоризны, доносится из дальней дали.

– Ты, юнец, самонадеян и неблагодарен! Почему ты заставляешь меня уходить так скоро? Неужели ты не мог придумать ничего лучшего, чем сразу же нарушать извечное согласие?

Гайта, невыразимо опечаленный, снова пал на колени, умоляя деву не уходить. А потом вскочил на ноги и долго искал деву в сгустившейся тьме – бегал кругами, громко призывал ее, но все это вотще. Дева совершенно скрылась во мраке, и только голос ее донесся до пастуха:

– Не ищи меня, все равно не найдешь. Возвращайся к своему стаду, маловерный пастух, или никогда больше меня не увидишь.

Опустилась ночь. Где-то неподалеку, в холмах, завывали волки, перепуганные овцы сбились в кучу у ног пастуха. Вспомнив о деле, Гайта даже забыл об утрате и вскоре привел стадо в загон. Затворив ворота, он пошел к алтарю и вознес Астуру горячую хвалу за то, что помог спасти овец. Потом он вошел в свою пещеру и там улегся спать.

Когда Гайта проснулся, ему показалось, что солнце поднялось уже высоко и засвечивает в пещеру, от чего она вся сияет. А потом увидел, что неподалеку сидит чудесная дева. Она улыбнулась Гайте, и в этой улыбке ожили все мелодии его тростниковой свирели. Он же не смел разомкнуть уста, чтобы не спугнуть ее, как вчера, неучтивым словом. Так и сидел, не зная, что ему делать.

– Я вернулась к тебе потому, – заговорила дева, – что ты сберег свое стадо и не забыл восславить Астура за то, что он спас овец от волков. Примешь меня теперь?

– А кто бы тебя не принял? – ответил Гайта. – О, не покидай меня до страшной перемены, до тех пор, пока я... пока я не сделаюсь недвижимым и безмолвным. – Слово «смерть» было ему неведомо. – Мне бы хотелось, чтобы ты тоже была мужчиной, тогда мы могли бы бороться и бегать наперегонки. И никогда бы друг другу не надоели.

Услышав такое, дева поднялась и вышла из пещеры. Гайта вскочил со своего ложа из душистых ветвей, собираясь ее догнать, но тут с изумлением обнаружил, что всюду хлещет ливень и река вышла из берегов. Овцы испуганно блеяли, и неспроста – вода подступила к самой ограде загона. Да и неведомым городам на равнине грозило потопление.

Только через много-много дней Гайта увидел деву снова. Он как раз возвращался от обиталища святого отшельника, относил ему овечьего молока, овсяную лепешку и немного ягод, а то старец совсем ослаб и не мог уже сам себя пропитать.

– Бедный старик! – говорил себе Гайта, шагая по знакомой тропе. – Завтра же посажу его на спину и отнесу в мою пещеру, буду за ним присматривать. Теперь я понимаю, зачем Астур все эти годы пестовал меня, для чего дал мне здоровье и силу.

И едва он так сказал, как на тропе перед ним появилась дева в сияющих одеждах. Она так улыбнулась Гайте, что у него дыхание занялось.

– Вот я и пришла к тебе опять, – сказала она. – Я хотела бы жить с тобой, если ты примешь меня... а то все меня отвергают. Надеюсь, ты стал мудрее, и примешь меня такой, какова я есть, ни о чем не расспрашивая.

Гайта бросился ей в ноги.

– О прекраснейшая! – воскликнул он. – Если ты снизойдешь до меня и примешь всю преданность моего сердца и души моей, – кроме той, что отдана Астуру, – они твои на веки вечные. Но увы! Ты так своенравна, так ветрена. И наверняка исчезнешь еще до утренней зари. Умоляю, обещай никогда не бросать меня, если даже я вдруг по невежеству чем-то тебя обижу.

И стоило ему сказать это, как с холма спустились медведи и пошли на него, оскалив зубы и свирепо поблескивая глазами. Дева куда-то пропала, а Гайта побежал со всех ног, спасаясь от неминуемой гибели. Ни на миг не останавливаясь, добежал он до хижины отшельника, откуда ушел совсем недавно. Он поспешно затворил за собой дверь, упал ничком и разрыдался.

– Сын мой, – сказал отшельник со своего ложа, которое Гайта этим утром устроил ему из свежей соломы, – я не думаю, что ты стал бы убиваться из-за этих медведей. Расскажи, что за беда с тобой случилась. Может быть, я смогу залечить твои раны бальзамом мудрости, который старцы накапливают за долгие свои годы.

Гайта рассказал ему, как он трижды встречал сияющую деву и трижды терял ее. Он передал все в точности – каждое движение, каждое слово.

Когда он закончил, отшельник недолго поразмыслил, а потом сказал:

– Сын мой, я хорошо понял каждое твое слово. Я знаю эту деву, мне случалось ее видеть, да и не мне одному. Знай же, что имя ее, о котором она не велит спрашивать, – Счастье. Ты верно сказал, что она ветренна: она требует от человека такого, что не каждому под силу, а стоит чуть оплошать – и нет ее. Она является, когда ее не ждешь, и терпеть не может любопытных. Стоит ей заметить малейшее сомнение, и она исчезает! Долго она оставалась с тобою?

– Только на краткий миг, – ответил Гайта, покраснев от смущения. – Мгновение – и она исчезала.

– Бедный ты мой! – воскликнул отшельник. – Если бы ты был осмотрительнее, мог бы удержать ее на целых два мгновенья!



Тайна долины Макарджера



Долина Макарджера лежит милях в девяти к северо-западу от Индейского холма. Ее и долиной-то трудно назвать, скорее уж ложбинкой меж лесистых возвышенностей. Протяженность ее, если считать от устья до верховьев – у долин ведь, как и у рек, есть своя морфология – не более двух миль, и ни в каком месте она не бывает шире двенадцати ярдов. По дну ее течет ручей, он весьма полноводен в зимние месяцы, но уже ранней весной он начинает пересыхать; вот его русло и разделяет пологие склоны, густо поросшие толокнянкой и цепким колючим кустарником. В долину Макарджера сейчас никто даже не заглядывает, если не считать самых неугомонных из окрестных охотников. А милях в пяти о ней и спрашивать бесполезно – никто ее попросту не знает, равно как и того, почему она так называется. В тех местах далеко не все географические объекты удостоились собственных имен, а ведь большинство из них куда примечательнее, чем долина Макарджера.

Если вы пойдете от устья вдоль долины Макарджера, то миль через шесть обнаружите еще одну долину, короткую и сухую, которая прорезает правую цепь холмов. Там, где две долины пересекаются, образовалась ровная площадка в два, много три акра. Вот на ней-то еще несколько лет назад стояла полуразрушенная домушка, точнее сказать, одна комната, огороженная дощатыми стенами. Не стоит, наверное, выяснять, как удалось выстроить жилье, пусть даже такое убогое, в столь отдаленном и труднодоступном месте – гадать можно сколько угодно, но толку будет мало. Может быть, пересохшее ложе ручья кому-то когда-то служило дорогой. Известно ведь, что некогда тамошние горы исследовались довольно подробно, а значит, надо было как-то доставлять туда провиант и инструменты, да и рудокопов тоже. Но в окрестных горах, похоже, не нашлось ничего, что позволило бы покрыть затраты на сооружение дороги, которая связала бы долину Макарджера с каким-никаким городком, в котором есть лесопилка. Но домик в долине все-таки стоял, вернее, то, что от него осталось. У него не было уже ни двери, ни оконной рамы, а дымовая труба, сложенная из камней на глине, осела уродливой грудой, поверх которой буйно разрослись сорняки. Если в домушке и была когда-то мебель, то она давно уже сгорела в охотничьих кострах, равно как и многие доски со стен. Такая же участь, надо полагать, постигла и колодезный сруб неподалеку от хижины: к тому времени, о котором пойдет речь, место колодца отмечала только яма, большая, но не очень глубокая.

Летом 1874 года и меня занесло в долину Макарджера – я пришел туда, следуя высохшему руслу ручья. В тот день я охотился на перепелов, и в моем ягдташе уже лежала добрая дюжина тушек. Тут-то я и увидел эту хижину, о которой, кстати, раньше слыхом не слыхивал. В первый раз я не удостоил ее пристальным вниманием, а снова занялся перепелами. День был на редкость удачный, я проохотился почти до самого заката и только тогда сообразил, что забрался очень далеко и до людского жилья мне засветло не добраться. Впрочем, дичи в моем ягдташе было вдоволь, а переночевать я мог в заброшенном домишке. Теплой ночью, если нет дождя, в горах Сьерра-Невады можно спать без одеяла, а за перину вполне сойдет сосновый лапник. Одиночество скорее привлекает меня, чем тяготит, да и летние ночи я люблю, так что решать мне долго не пришлось. Еще не стемнело, а у меня уже было готово в углу довольно мягкое ложе, а на костре поспевал перепел. От костра потягивало дымком, да и света мне вполне хватало. Этот скромный ужин – дичь и немного вина, которым я весь день, за неимением воды, утолял свою жажду, – доставил мне такое удовольствие, какое я редко испытывал, пользуясь благами комфорта и изысканной кухней.

И все-таки ощущалось там нечто странное. Я был доволен, спокоен и в то же время чего-то опасался – то и дело без видимого повода посматривал то на дверной проем, то на оконный. И с каждым взглядом в ночную тьму во мне росла тревога, причину которой я плохо понимал. Фантазия населяла мир за стенами лачуги врагами, как вполне обычными, так и потусторонними. Из первых более всего стоило опасаться гризли – мне говорили, будто они все еще попадают в тех местах; из вторых же, пожалуй, призраков, хотя уж им-то здесь неоткуда было взяться. Но чувства наши, к сожалению, не всегда в ладу с холодным рассудком, потому я одинаково опасался и возможного, и невозможного.

Всякому, кто оказывался в похожих обстоятельствах, наверняка известно, что ночные страхи – как рациональные, так и иррациональные – куда сильнее одолевают в замкнутом пространстве, чем под открытым небом. Сам я в полной мере понял это, лежа на постели из лапника и глядя на утасяющий костер. Как только в нем померк последний уголек, я схватил свое ружье и направил дуло в сторону дверного проема. Я взвел курок и затаил дыхание, все мое тело напряглось. Впрочем, скоро я устыдился своей паники и отложил ружье. Чего тут было бояться? Да и чего ради? Ведь ночь мне была «... знакома много лучше, чем образ человеческий...».

Склонность к разного рода суевериям, свойственная всем людям, у меня, надо признаться, была развита особо, хотя одиночество, мрак и тишина скорее влекли и чаровали меня, чем пугали! Размышляя над тем, что могло так меня встревожить, я незаметно задремал. И мне приснился сон.

Я был в большом незнакомом городе, явно в другой стране. Ее жители принадлежали к какой-то родственной нации: их одежда и язык мало отличались от моего. Но я все-таки никак не мог понять, кто они, да и видел их как-то смутно, будто сквозь дымку. В самом центре города возвышался большой замок. Его название было мне известно, вот только выговорить его я не мог. Я шел по улицам города – то по широким и прямым, с большими зданиями современной постройки, то по мрачным и извилистым, стиснутым старыми домами с крутыми крышами. Порой мне казалось, что верхние этажи, украшенные резьбой по дереву и камню, смыкаются над головой.

Я кого-то искал. Человека этого я никогда не видел, но почему-то был уверен, что узнаю его, едва встречу. При чем искал я отнюдь не наудачу, а вполне методично: я уверенно поворачивал на перекрестках и проходил лабиринтом переулков, нисколько не опасаясь заблудиться.

В конце концов я остановился перед невысокой дверью ничем не примечательного кирпичного домика, в котором, скорее всего, жил какой-то ремесленник не из самых бедных. Я вошел в нее, не дав себе труда постучать. В комнате с единственным окном, набранным из ромбовидных стекол, обстановка была самая скромная. Еще в ней были мужчина и жен-

щина. Моего вторжения они, похоже, совсем не заметили, но во снах такое бывает часто. Они сидели, не шевелясь, по разным углам комнаты и угрюмо молчали.

Женщина была молода и, что называется, склонна к полноте. Ее отличала этакая строгая красота. Общий ее образ довольно отчетливо отпечатался у меня в памяти, хотя лицо не запомнилось, только прекрасные большие глаза; но такое во сне тоже не редкость. Помню еще, что на плечах у нее был клетчатый плед. Мужчина казался гораздо старше женщины. Лицо его со смуглой кожей, черными усами и свирепым выражением было обезображено шрамом, идущим от виска через всю щеку. Шрам этот виделся мне во сне довольно странным образом: казалось, что он не углублен в щеку, а как бы висит над ней – иначе не скажешь. Шрам сам по себе, а щека – сама по себе. Едва увидев эту пару, я уже знал, что это муж и жена.

Дальнейшее я едва помню: все вдруг перемешалось и перепуталось. Наверное, это пробуждалось сознание. На какое-то время сновидение и реальность наложились друг на друга, а потом сон начал истаявать и вскоре исчез совершенно. Я проснулся в полуразвалившейся лачуге, и сразу же отчетливо осознал, где нахожусь и как сюда попал.

Тревоги мои отлетели. Открыв глаза, я обнаружил, что в лачуге довольно светло: костер мой не только не погас, а даже разгорелся, дотянувшись до сухой ветки. Дремал я, наверное, считанные минуты, но сон мой, вполне, казалось бы, обычный, почему-то так впечатлил меня, что спать уже не хотелось. Я поднялся, сгрудил угли, разжег трубку и стал, что называется, обмозговывать свой сон с разных сторон – занятие, конечно же, нелепейшее.

Тогда я не отдавал себе отчета, почему это сновидение показалось мне важным. Я задумался над ним и понял, что это был за город. Это был Эдинбург. Сам я отродясь там не бывал. И если верно, будто сны наши – лишь воспоминания, значит, я вспомнил то, о чем читал, что видел на фотографиях. Особенно меня удивило, что я все-таки узнал город. Почему-то мне казалось, что сон мой очень важен, хотя никакого разумного объяснения этому я не находил. Да и язык мой повиновался не мне одному. «Все понятно, – само собой вырвалось у меня. – Выходит, Мак-Грегоры приехали сюда из Эдинбурга».



Поначалу меня не удивили ни сами слова, ни то, что я их произнес. Мне почему-то казалось естественным, что я знаю этих людей, знаю их историю. Но уже вскоре я сообразил, насколько это абсурдно. Громко рассмеявшись, я выколотил трубку и снова улегся на свое ложе. Я рассеянно глядел на умирающий огонь, не думая больше ни о сновидении, ни о хижине, в которой оказался. Наконец костер выдохнул последний язычок пламени – тот приподнялся над углями и тут же растворился в воздухе, – и воцарилась тьма.

Но едва погас огонь, как хижину потряс глухой удар, словно на пол упало что-то тяжелое. Я сел и попытался нащупать ружье, которое должно было лежать рядом: мелькнула мысль, что через окно запрыгнул дикий зверь. Тут же до меня донеслись новые удары, уже не такие сильные, следом за ними – звуки, похожие на трудные, шаркающие шаги, а потом совсем рядом, чуть ли не над самым моим ухом – истошный женский крик, полный смертельной муки. Ничего подобного я в жизни не слышал. Я буквально оцепенел, ужас на какое-то время вытеснил все остальные ощущения. Тут, к счастью, рука нашарила ружье, и я до какой-то степени успокоился, ощутив под ладонью холодок ствола. Вскочив на ноги, я всмотрелся в темноту. Отзвуки пронзительного вопля смолкли, точнее, сменились звуками еще более ужасными – тяжелым частым дыханием и хрипами агонии!

Глаза мои вскоре привыкли к темноте. Сначала я различил в красноватом свете углей дверной и оконный проемы, потом – стены и половицы, и в конце концов – все помещение. Нигде, даже в темных углах, никого не было. Не слышно было и никаких звуков.

Кое-как, одной рукой – другая стискивала ружье, – к тому же заметно подрагивающей, я развел огонь и внимательно обследовал лачугу. Судя по внешним признакам, никто сюда не заходил. В пыли, покрывающей пол, отпечатались только мои следы – и никаких других. Я снова раскурил трубку, отодрал от стены несколько досок и сунул их в костер. Выйти за дверь, во тьму, было выше моих сил. До самого утра я сидел у очага, размышлял, дымя трубкой, и подкармливал огонь, который вдруг сделался для меня дороже всего на свете.

Через несколько лет я познакомился в Сакраменто с джентльменом по имени Морган – в Сан-Франциско один из моих друзей дал мне рекомендательное письмо к нему. Морган позвал меня к обеду, и я, придя к нему домой, увидел по стенам многочисленные трофеи, что позволяло предположить в хозяине заядлого охотника. Так оно и оказалось. Морган принялся рассказывать о своих охотничьих успехах и между прочим упомянул те места, где я когда-то провел странную ночь.

– Мистер Морган, – спросил я, неожиданно для себя самого, – а не приходилось вам слышать о долине Макарджера?

– Еще как приходилось! – воскликнул он. – Именно ваш покорный слуга в прошлом году нашел там человеческий скелет. Об этом тогда написали все газеты.

Об этом я не знал. Наверное, все это произошло в то время, когда я отъезжал на Восток.

– Не знаю уж, – заметил Морган, – в честь кого долину так прозвали. Правильнее было бы называть ее долиной Мак-Грегора... Дорогая, – обратился он к супруге, – помоги мистеру Элдерсону – он расплескал вино из своего бокала.

Не то слово. Бокал просто выпал у меня из руки.

– В свое время в этой долине кто-то построил лачугу, – продолжил мистер Морган, после того как устранили последствия моей неловкости. – Но я застал ее уже разрушенной, вернее, разметанной: вокруг валялись щепки, доски и прочее. Половицы – те, что уцелели – разошлись, и в щели мы с моим спутником заметили клоч клетчатой ткани. Мы подняли доску и увидели труп женщины, плечи ее были обернуты пледом. Точнее сказать, это был скелет: лишь местами его покрывала ссохшаяся кожа и то, что когда-то было одеждой. Впрочем, давайте пощадим чувства нашей леди, – прервал себя мистер Морган и улыбнулся.

Надо сказать, что у нашей леди рассказ этот вызывал явственное отвращение, а вовсе не сочувствие.

– И все-таки следует добавить, – снова заговорил мистер Морган, – что череп женщины был в нескольких местах проломлен каким-то тупым предметом. Предмет же – окровавленный черенок кирки – лежал рядом с телом. – Тут мистер Морган снова обратился к супруге: – Извини, дорогая, – учтиво вымолвил он, – что пришлось перечислить все эти гадкие последствия обычной семейной ссоры, к сожалению, имевшей фатальный исход. Наверное, бедная женщина воспротивилась мужниной воле.

– Пожалуй, мне следовало бы просто пускать все это мимо ушей, – с той же учтивостью ответила миссис Морган. – Тем более, что ты уже не раз просил меня не обращать внимания.

Казалось, мистер Морган обрадовался случаю довести историю до конца.

– Рассмотрев все эти факты и присовокупив к ним некоторые другие, присяжные из жюри коронера заключили, что смерть Джанет Мак-Грегор последовала от ударов, нанесенных ей неустановленным лицом. Заодно отмечалось наличие серьезных улик, которые позволяли подозревать в убийстве Томаса Мак-Грегора, мужа покойной. Но тот исчез неведомо куда, и до сих пор о нем нет никаких сведений. Попутно выяснилось, что Мак-Грегоры приехали сюда из Эдинбурга, и... Дорогая, разве ты не видишь, что у мистера Элдерсона в тарелку для костей попала вода?

Я и в самом деле уронил в полоскательницу куриную ножку.

– В небольшом комодике я отыскал и фотографию Мак-Грегора, но толку от нее было мало: его до сих пор не поймали.

– Вы позволите взглянуть? – попросил я.

С фотографии смотрело смуглое лицо с черными усами и свирепым выражением, обезображенное шрамом, идущим от виска через всю щеку.

– Кстати, мистер Элдерсон, а вас-то почему интересует та долина? – спросил мой любезный хозяин.

– Однажды у меня там потерялся мул. И это... очень меня огорчило.

– Вот видишь, дорогая, – бесстрастно, словно добросовестный переводчик, откомментировал мистер Морган, – как может огорчить человека утрата мула: мистер Элдерсон наперчил свой кофе.



Пантеры глаза

I

Не все одержимые выходят замуж



Мужчина и женщина – сама природа создала их друг для друга – сидели на склоне дня на каменной скамье у обочины. Мужчина – средних лет, высокий и сухощавый, с вдохновенным лицом поэта и телосложением пирата – относился к тем, на кого оглядываются. О женщине же надо сказать, что она была молода, белокура, изящна, с «гибким», как сейчас говорят, станом. Этот стан облекало серое платье с узором из темно-коричневых пятнышек. Вы не смогли бы сразу сказать, красива она или нет: вашим вниманием сначала овладели бы ее глаза – большие, серовато-зеленые, пожалуй, чуть суженные и от этого кажущиеся удлинненными. Их выражение трудно было бы определить и выразить словами. Пожалуй, тревожащее... или интригующее. Наверное, такие вот глаза были у Клеопатры.

Мужчина и женщина беседовали.

– Бог свидетель, – сказала женщина, – я вас люблю. Но замуж за вас не выйду никогда. Это просто невозможно.

– Айрин, вы в который уже раз отвергаете мое предложение, но никаких резонов никогда не приводили. А я вправе знать их, осмыслить, прочувствовать и доказать вам, если понадобится, постоянство моих намерений. Так скажите же... почему?

– Почему я вас люблю?

Женщина улыбнулась, хотя глаза ее затуманились слезами, да и сама она заметно побледнела, но мужчина шутку не принял.

– Нет-нет... Для этого резонов не существует. Объясните, почему вы не идете за меня. У меня есть право знать. Я должен это знать. И узнаю!

Он вскочил на ноги, нахмурился, стиснул кулаки; вид у него был самый решительный и даже, пожалуй, угрожающий. Могло показаться, что он готов схватить свою собеседницу за горло, лишь бы узнать, в чем дело. Женщина больше не улыбалась – она смотрела ему в глаза неподвижным, застывшим взором, в котором нельзя было прочесть ничего. И все же этот взгляд заставил мужчину присмиреть. Он даже слегка вздрогнул.

– Так вам непременно хочется узнать резоны? – спросила она ровным тоном, который совершенно соответствовал ее взгляду.

– Если соизволите... и если я, по-вашему, не требую слишком многого. – Красавец явно сдавал свои позиции.

– Тогда вот вам резон: я не всегда бываю в своем уме.

Мужчина дернул плечом, потом пристально взглянул на нее. На лице его явственно читались недоверие и готовность рассмеяться. Но чувство юмора снова изменило ему, а то, что сказала женщина, потрясло, несмотря на весь его скепсис – ведь наши мысли и чувства суть вещи разные.

– Так сказали бы врачи, – добавила женщина, – если бы я к ним обратилась. Мне же больше по душе слово «одержимость». Садитесь и слушайте, я все вам расскажу.

Мужчина, не сказав ни слова, снова опустился на каменную скамью. На востоке, куда были обращены их лица, склоны холмов уже багровели в отблесках заката, вокруг воцарилась та тишина, какая обычно предшествует вечеру. В такой таинственной, торжественной и многозначительной атмосфере и мужчина почувствовал себя соответственно – ведь в мире духовном, как и в материальном, ночь не наступает без предвестий. Встречая время от времени взгляд женщины и всякий раз вздрагивая – ее прелестные глаза пугали, несмотря на всю их кошачью прелесть, – Дженнер Брэдинг молча выслушал все, что поведала ему Айрин Марлоу. В интересах взыскательного читателя, которому безыскусное повествование неопытной рассказчицы может прийтись не по вкусу, автор отваживается изложить историю на свой манер.

II

Комната может быть тесной для троих, даже если один из них – снаружи

В углу единственной комнаты маленького бревенчатого домика, обставленной просто и даже скудно, скорчилась на полу женщина. К груди она крепко прижимала ребенка. На много миль вокруг не было ничего, кроме леса, густого и едва проходимого. Стояла ночь, и в доме было так темно, что человеческому глазу не под силу было бы различить ни женщину, ни ребенка. И все-таки за ними наблюдали бдительно и неотрывно. Вот в этом, собственно, и состоит суть нашей истории.

Чарльз Марлоу принадлежал к тем людям, которые сейчас совершенно перевелись в нашей стране, – он был фронтирером. Такого сорта люди предпочитали вести уединенную жизнь в лесах, которые тогда простирались по восточному склону долины Миссисипи от Великих озер до Мексиканского залива. Добрую сотню лет фронтиреры – поколение за поколением – продвигались на запад с ружьями и топорами, по клочку отбирая землю у матери-природы и ее диких отпрысков. А потом этой землей завладевали уже совсем другие люди: не столь смелые, зато куда более рачительные. Фронтиреры же, пройдя леса от края до края, в конце концов оказались на безбрежных равнинах – и исчезли, словно в воду канули. Лесных фронтиреров просто не стало, фронтиреры же равнинные, довольно легко, за одно поколение, захватившие две трети страны, – публика совсем уже не та.

У Чарльза Марлоу были жена и ребенок, они разделяли с ним все опасности и трудности жизни в лесу. Сам он был из тех людей, которые служат своей семье так же истово, как иные служат Богу, так что не стоит и говорить, как он любил своих домашних. Жена его была молода и потому вполне миловидна, а уединенная жизнь еще не успела наложить на ее характер неизбежный при подобных обстоятельствах мрачный отпечаток. Господь был милостив к ней, не наделив такими представлениями о счастье, которые не могла бы удовлетворить жизнь посреди леса. Все свое время она делила между простой работой по дому, ребенком, супругом и несколькими пустыми книжицами.

Одним летним утром Марлоу снял с деревянных крюков свое ружье и сказал жене, что хочет поохотиться.

– Но у нас еще вдоволь мяса, – сказала жена. – Прошу тебя, не уходи сегодня никуда. Этой ночью мне приснился какой-то кошмар! Я не могу припомнить, в чем там было дело, но мне кажется, что он сбудется, если ты уйдешь.

Но Марлоу оказался глух к предвестию беды и не обратил на страхи жены должного внимания. Он только рассмеялся.

– А ты все-таки вспомни, – сказал он. – Может, тебе привиделось, будто Малышка потеряла голос?

Малышка же тем временем уцепилась обеими руками за полу отцовской куртки и являла свой голос в полную силу – уж очень ребенку приглянулась енотовая шапка.

И женщина уступила. Обделенная чувством юмора, она просто не нашлась с ответом на шутку мужа. А он, поцеловав жену и ребенка, вышел из дому – и навсегда оставил свое счастье в прошлом.

К вечеру он не вернулся. Женщина приготовила ужин и стала ждать. Потом уложила Малышку в постель и тихо баюкала ее, пока та не заснула. К этому времени огонь в очаге уже прогорел, и комната освещалась только свечкой. Женщина переставила свечу на окно, чтобы муж издали увидел свет, если будет подходить к дому с этой стороны. У нее хватило здравого смысла, чтобы закрыть дверь на засов, но об окне не подумала.

Никто ей не рассказывал о повадках местного зверья, а ведь иные из диких животных способны без приглашения забраться в дом даже через дымовую трубу. Ночь все тянулась, женщина тревожилась, но в конце концов усталость пересилила беспокойство, и она облокотилась на детскую кровать, а потом и голова ее поникла. Свеча на окне догорела, шикнула, вспыхнула еще на мгновение и погасла. Но женщина уже не заметила этого: она спала и видела сон.

Она сидела у колыбельки второго ребенка. Первый умер. Умер и муж. Домик в лесу куда-то исчез, а нынешнее ее обиталище было совершенно незнакомым: прочные дубовые двери, всегда закрытые, с внешней стороны окон – железные решетки, вмурованные в толстые кирпичные стены. «От индейцев», – подумалось ей. Она рассматривала все это без особого удивления – во сне никто не удивляется, – но с ощущением безграничной жалости к себе самой. Ребенка в колыбели покрывало одеяльце, и женщине вдруг захотелось взглянуть на свое дитя. Она откинула одеяльце – и увидела морду дикого зверя! Потрясенная, она тут же проснулась, вся дрожа. Она была в своей лесной хижине, вокруг царил темнота.

Вскоре к ней вернулось ощущение реальности, она дотронулась до ребенка, настоящего, не из сна, прислушалась к его дыханию, убеждаясь, что с ним все в порядке. Не в силах удержаться, она легонько провела ладонью по лицу дочки. Потом, повинаясь безотчетному побуждению, встала, взяла спящего младенца на руки и крепко прижала к груди. Кровать стояла изголовьем к стене, и женщина, вставая, повернулась к ней спиной. Подняв взгляд, она вдруг увидела пару огоньков, пылавших во тьме красноватым светом с зелеными отблесками. Сперва она приняла их за тлеющие угольки, но потом поняла, что очаг расположен совсем в другом месте. Кроме того, точки эти горели слишком высоко, почти на уровне ее собственных глаз. Это смотрела пантера.

Зверь стоял прямо за окном, шагах в пяти, не более. Женщина видела только жуткие глаза, но смятение, овладевшее ею, когда она осознала опасность, все же не помешало ей понять, что тварь стоит на задних лапах, а передними опирается на подоконник. Это означало, что пантера готова напасть, а не просто любопытствует. От ужаса горящие глаза хищника показались женщине еще страшнее, в этом яростном огне ее сила и мужество обращались в пепел. Во взгляде пантеры ей почудился безмолвный вопрос. Ее затрясло крупной дрожью, голова закружилась, колени подогнулись. Тихо-тихо – инстинкты подсказали ей, что резкие движения могут спровоцировать зверя, – женщина опустила на пол, скорчилась у стены, прикрывая ребенка своим телом. И все это время она не отрывала взгляда от грозящих гибелью горящих глаз. Смертельно перепуганная, она даже не подумала, что вот-вот может вернуться муж, вернуться и спасти их с ребенком. Все ее мысли и чувства уступили место ужасу перед прыжком зверя, толчком его тела, ударом мощных лап, представлением, как острые зубы рвут ее горло и терзают дитя. Не шевелясь, в полном безмолвии ждала она исхода. Из мгновений складывались часы, годы, века, и все это время пантера не отводила от нее злобного взгляда.

Вернувшись далеко за полночь с карибу на плече, Чарльз Марлоу толкнул дверь, но она не шелохнулась. Он постучал, но никто не ответил. Тогда он скинул с плеча добычу и пошел вокруг дома к окну. Когда он огибал угол, ему почудились в кустах шорох и тихие шаги, такие тихие, что даже слух опытного охотника едва их уловил. Подойдя к окну, Марлоу удивился, обнаружив его открытым. Он забрался в дом – там было тихо и темно. Ощупью он пробрался к очагу, чиркнул спичкой, зажег свечу и огляделся. В дальнем от окна углу сидела, скорчившись, его жена с ребенком на руках. Он метнулся к ней, но она, быстро вскочив, встретила его громким хохотом, более похожим на лязг цепей, чем на женский смех. Едва помня себя, Марлоу протянул к ней руки, и она, все еще хохоча, отдала ему ребенка. Девочка была мертва – задохнулась в объятьях матери.

III

Версия защиты

Вот что случилось той ночью в глухом лесу. Здесь надо сказать, что Айрин Марлоу рассказала Дженнеру Брэдингу далеко не все, поскольку многие обстоятельства трагедии остались неведомы ей самой. Когда она закончила, солнце уже опустилось за горизонт, землей помалу овладевали долгие летние сумерки. Несколько минут Брэдинг молчал, ожидая, что девушка как-то свяжет эту историю со своим отказом, но и она не говорила больше ни слова. Она отвернулась, ее руки, лежавшие на коленях сжимались и разжимались, казалось, помимо ее воли.

– Какая ужасная история... – наконец промолвил Брэдинг. – Но я не все понял. Я знаю, что вы зовете Чарльза Марлоу отцом, знаю, что какое-то большое горе состарило его прежде времени. Во всяком случае, думал, что знаю. Но ведь вы сказали, простите, что вы... будто вы...

– Что я одержима, – закончила за него девушка, по-прежнему глядя в сторону.

– Но, Айрин, вы же сказали... Ради Бога, дорогая, не отворачивайтесь... Вы сказали, что тот ребенок погиб, а не с ума сошел.

– Да, но то был первый ребенок... а я была вторым. Я родилась через три месяца после той ночи. Господь сжалился над моей матерью, и она умерла родами.

Брэдинг ничего не сказал; он был так ошеломлен, что не смог найти подходящих слов. Девушка все смотрела куда-то вдаль. В растерянности он потянулся к ее ладоням, по-прежнему сжимавшимся и разжимавшимся, но тут что-то – он сам не понял, что именно – остановило его. Брэдингу вдруг припомнилось, что и раньше его не тянуло взять ее за руку.

– Возможно ли, – наконец сказала она, – чтобы ребенок, появившийся на свет при таких вот обстоятельствах, был нормальным?

Брэдинг опять ничего не ответил. Его захватила новая мысль, которую ученый назвал бы гипотезой, а сыщик – версией. Она, пожалуй, могла бы пролить свет, хотя и несколько зловещий, на душевное здоровье девушки, в котором он хотел бы быть уверен.



Люди в этих местах начали селиться недавно, поселки стояли далеко друг от друга. Охотой жили многие, и среди трофеев попадались головы и шкуры весьма крупных зверей. Во множестве бытовали еще истории, более или менее достоверные, о ночных встречах с хищниками на безлюдных дорогах; интерес к ним вспыхивал, потом угасал, и в конце концов они попросту забывались. Недавно к этим народным апокрифам добавилось – а в некоторых семьях даже стало родовым – предание о пантере, которая пугала людей, заглядывая по

ночам в окна домов. Рассказы эти, как это обычно бывает, кое-кого впечатлили, на них даже обратила внимание местная газета, но Брэдинг никогда не придавал им значения. Теперь же он отнесся к ним серьезно: сходство между ними и рассказом девушки, возможно, было не случайным. Ведь мог же рассказ о реальной встрече с пантерой дойти до девушки и обрести благоприятную почву в ее впечатлительной душе. А уж фантазия превратила его в трагическую историю, которую он только что слышал.

Брэдингу вспомнились некоторые обстоятельства жизни Айрин, кое-какие особенности ее характера, на которые он, как и всякий влюбленный, прежде не обращал внимания. Она жила вдвоем с отцом, в их доме, насколько он помнил, никого не принимали. Кроме того, девушка боялась темноты, и никто из знакомых не встречал ее ни поздним вечером, ни ночью. Конечно, для впечатлительной души довольно единой искры, чтобы она вспыхнула – вся без остатка – ярким пламенем. Он уже не сомневался, что она не совсем в себе, хотя это и причиняло ему боль, и почти уверился, что она спутала следствие своего умственного расстройства за причину, связав свою историю с местными легендами. Решившись проверить эту свою «версию», но не зная, с какой стороны к этому подступиться, он начал серьезно, хотя и без уверенности в голосе:

– Айрин, дорогая, скажите, умоляю вас... Ради Бога, не обижайтесь, просто скажите мне...

– Я вам все сказала, – перебила она с небывалой горячностью. – И объяснила, почему не могу за вас выйти. Чего же вы еще от меня хотите?

Она быстро поднялась и, не сказав ни слова на прощанье, не бросив даже взгляда, грациозно пошла меж деревьями к дому своего отца. Брэдинг тоже вскочил на ноги, чтобы удержать девушку, но не успел; ему осталось лишь стоять и провожать ее взглядом, пока силуэт не растаял во мраке. Вдруг он вздрогнул, словно в него выстрелили, на лице его отразилось изумление, потом тревога – в той стороне, где она скрылась, он уловил промельк сверкающих глаз! Брэдинг мешкал не более секунды, а потом бросился за девушкой, не разбирая пути и крича во весь голос:

– Айрин! Айрин, постойте! Там пантера! Пантера!

В выскочил на открытое пространство и успел еще увидеть, как в дверях дома мелькнула серая юбка. Никакой пантеры нигде не было.

IV

Апелляция к Божьему соизволению

Адвокат Дженнер Брэдинг, жил на самой окраине города – сразу же за его домом начинался лес. Поскольку он был холостяком и не мог, в силу бытовавших тогда драконовских понятий о морали, нанять домашнюю прислугу, столоваться ему приходилось в местной гостинице, там же, где он держал контору. Свой же дом, пусть и не слишком дорогой, нужен был ему, так сказать, для веса в обществе: не пристало быть «бездомным» человеку, которого в газете называли «выдающимся юристом современности». Впрочем, порой он сомневался, синонимичны ли понятия «дом» и «жилье». Осознав свою неустроенность, он, как и следовало полагать, попытался ее устранить. Другими словами, выстроив дом, Брэдинг попытался жениться, но из этого ничего не вышло: красивая, но эксцентричная дочка старого чудака Марлоу отказала ему. Все знали об этом наверняка, хотя больше от него, чем от нее. Обычно бывает наоборот.

Спальня Брэдинга располагалась в задней части дома, ее единственное окно смотрело на в лес. Однажды ночью его разбудил шум за окном, и он долго не мог понять, что это такое. Ощущая легкую нервную дрожь, он сел в постели и достал из-под подушки револьвер – не лишняя предосторожность для тех, кто завел привычку спать на первом этаже с открытым окном. В комнате царила кромешная тьма, но он знал, куда надо глядеть, и уставился туда, ожидая, что будет дальше. Вскоре он различил окно – чуть более светлый квадрат. Вдруг над его нижней кромкой загорелась злобным, жутким светом пара глаз! Сердце несколько раз ударило оглушительно, а потом словно замерло. Озноб пробежал по спине, по затылку; он почувствовал, как кровь отлила от лица. Гортань перехватило, он не смог бы теперь кричать даже ради спасения жизни. Впрочем, будучи человеком смелым, он и не стал бы кричать ради спасения жизни. Робкое тело дрожало, но дух был куда как крепок. Сверкающие глаза медленно поднимались в окне – казалось даже, что они приближаются, – и в уровень с ними поднималась рука Брэдинга с револьвером. Наконец он выстрелил!

Брэдинг, хоть и был ослеплен вспышкой и оглушен выстрелом, все же услышал – или ему показалось, что услышал, – дикий, истошный визг пантеры; так мог бы кричать раненый человек. Вскочив с постели, он поспешно оделся, схватил револьвер и выбежал из дому. Тут же к нему подбежали мужчины из соседних домов. Брэдинг кратко объяснил им, в чем дело, и они вместе обыскали окрестности его дома. Трава, мокрая от росы, под окном была заметно примята, а в кусты тянулся извилистый след, хорошо различимый в свете фонарей. Один из мужчин споткнулся и упал, успев выставить перед собой руки; когда же он поднялся и стал вытирать ладони, они показались ему липкими. Ему посветили, и обнаружилось, что они все в крови.

Встретиться без оружия с раненой пантерой никому не улыбалось, и все, кроме Брэдинга, подались назад. Он же, схватив фонарь, смело вошел в лес. Продравшись через густой кустарник, он оказался на небольшой поляне, где его отвага была вознаграждена: он нашел тело своей жертвы. Но то была не пантера. А кто это был, может сейчас рассказать исхлестанное непогодами надгробье на местном кладбище. Долгие годы о том же говорила согбенная фигура и изборожденное горестными морщинами лицо старого Марлоу, мир его душе. И душе его несчастной одержимой дочери. Мир и воздаяние!



Незнакомец



Он выступил из темноты в круг света нашего походного костерка и присел на камень. – Вы здесь не первые, – сообщил он нам.

Никто ему не возразил – ведь он сам был веским тому доказательством: раз он был не из наших, значит, уже был где-то неподалеку, когда мы разбили свой лагерь. А где-то поблизости наверняка обретались и его спутники – не такие тут места, чтобы жить или путешествовать в одиночку. Нам самим в последнюю неделю попадались на глаза только гремучие змеи да рогатые жабы – вот и вся здешняя живность, если не считать нас самих и наших лошадей. В аризонской пустыне, чтобы выжить, нужен запас продовольствия, вьючные животные, оружие и прочее снаряжение, словом, то, что называется экипировкой. И, конечно, товарищи. Ясно было, что компания незнакомца подобралась из таких же авантюристов, как и мы сами. Слова незнакомца можно было воспринять и как вызов, так что наши подобрались, а кое-кто даже положил руку на кобуру. В те времена и в тех местах такой жест обозначал, что ваш визави терпелив, но готов ко всему. Но чужак словно не заметил этого; он заговорил голосом глубоким, но монотонным:

– Тридцать лет назад Рамон Гальегос, Уильям Шоу, Джордж У. Кент и Барри Дэвис, все из Тусона, перевалили через хребет Санта-Каталина и двинулись на запад, намереваясь пройти так далеко, как только будет возможно. Мы хотели разведать те земли, а в случае, если не найдем ничего, собирались вернуться к Хиле – там, возле Большой Излучины, насколько мы знали, было поселение. Экипировались мы хорошо, но проводника у нас не было – весь отряд составляли Рамон Гальегос, Уильям Шоу, Джордж У. Кент и Барри Дэвис.

Незнакомец произносил имена медленно и внятно, словно хотел, чтобы они навсегда запечатлелись в памяти слушателей, весьма внимательных, кстати сказать. Впрочем, уже вскоре мы перестали опасаться, что его товарищи кинутся на нас из темноты – в поведении этого местного ксенофонта не ощущалось ни намека на угрозу. Он больше походил на безобидного чудака, чем на злодея. Мы уже поосмотрелись в здешних местах и знали, что в характерах старожилов аризонских равнин порой из-за одиночества развиваются такие странности, которые не вдруг отличишь от помешательства. Человек ведь вроде дерева, а оно в лесу, среди себе подобных, растет прямым, как ему от роду и положено; одинокое же становится игрушкой всех ветров, которые гнут его и корежат. Наблюдая незнакомца из-

под низко надвинутой, – чтобы свет костра не мешал – шляпы, я пришел к определенному выводу: у парня явно были не все дома, иначе он бы не забрел один в самую серединку пустыни.

Рассказывая эту историю, я должен бы, как водится, описать внешность этого человека. Я и пытался, но у меня ничего не получилось. И вот ведь что странно: потом среди наших не нашлось и пары человек, которые сошлись бы во мнении насчет того, как незнакомец выглядел и во что был одет. Да и сам я, когда пытался записать собственные впечатления, вдруг обнаруживал, что они у меня какие-то расплывчатые. Связно рассказать историю всякий сумеет, на то людям и язык дан. Но способность толково описать что-либо – дар вышних сил.

Никто из наших не сказал ни слова, и незнакомец продолжил:

– В те времена здешние места были совершенно дикими: между Хилой и Заливом не было ни единого ранчо. Но кое-где встречалась дичь, а у редких источников было довольно травы, чтобы поддержать силы наших лошадей. Мы надеялись, что судьба убережет нас от встречи с индейцами. За какую-то неделю цели нашей экспедиции переменялись: теперь нам было уже не до золота, живыми бы остаться. Мы забрели слишком далеко, чтобы возвращаться, и после всего пережитого думали, что дальше хуже не будет. Двигались мы больше ночами – так было меньше шансов столкнуться с индейцами, да и жара не донимала. Ну, а днями прятались, где придется. Не раз мы оставались без кусочка вяленого мяса, без глотка воды, и тогда оставалось лишь надеяться, что встретится родник или мелкая лужица в русле пересохшей реки. Тогда к нам возвращалось достаточно сил и воли, чтобы устроить засаду на зверя, пришедшего к водопою. Порой нам доставался медведь, иногда антилопа, а чаще – койот или кугуар. Словом, все, что посылал нам Бог, сходило за еду.

Однажды утром, когда мы шли вдоль скал, надеясь отыскать удобный проход, на нас напали апачи и загнали нас в ущелье... оно здесь, неподалеку. Они знали, что превосходят нас числом раз в десять и потому вели себя нагло: понесли на нас галопом, палили почему зря и истошно вопили. Ввязываться в схватку не было смысла, и мы погнали наших порядком уже измученных лошадей в глубь ущелья. Вскоре, когда тропа совсем сузилась, мы спешили и укрылись в зарослях чаппарала, что покрывали один из склонов, оставив врагам все наше снаряжение. Но оружие не бросил никто – ни Рамон Гальегос, ни Уильям Шоу, ни Джордж У. Кент, ни Барри Дэвис.

– В общем, все те же старинные наши знакомцы, – ввернул наш присяжный остряк.

Родом этот парень был с Востока, а там редко кто умеет вести себя в приличном обществе. Наш капитан досадливо махнул на него рукой, и он замолчал. А незнакомец продолжил свой рассказ:

– Дикари тоже спешили и перекрыли ущелье. Деваться нам было некуда, разве что карабкаться на скалы. К сожалению, чаппараль покрывал только низ откоса, и едва мы выбрались из зарослей, как в нас полетели пули из доброй дюжины стволов. Но апачи стреляли торопливо, а потому паршиво, и Бог судил так, что никого из нас не зацепило. Ярдами двадцатью выше откос переходил в отвесные скалы, и там нам повезло обнаружить узкую щель. Мы пролезли в нее и очутились в тесной пещере; пожалуй, она была не больше комнаты в обычном доме. На какое-то время мы оказались в безопасности: один человек с магазинной винтовкой мог бы выстоять там против всех апачей на свете. Но от голода и жажды не отстреляешься. Мужества нам всем доставало, а вот надежды уже не было.

Сами апачи нам на глаза не попадались, но мы, дежуря в кустах у входа в нашу пещеру, видели дым от их костров днем и огни ночью – они неотступно нас караулили. И решишь мы на вылазку, никто из нас и трех шагов бы не сделал. Три дня мы кое-как держались, сменяя друг друга на посту в кустах, а на четвертый страдания сделались невыносимыми. И тогда Рамон Гальегос сказал:

«Сеньорес, я знать, что плохо верил в Бога и редко радовал Его. Я прожить без религии, да и вы, как я понимать, тоже. Простите, если я доставить вам неудобство, но я решить закончить игру с апачами. – Тут он опустился на колени и приставил к виску револьвер. – Матерь Божия, ныне прими душу Рамона Гальегоса».

Нас осталось трое: Уильям Шоу, Джордж У. Кент и Барри Дэвис. Поскольку я был в нашем отряде за главного, мне было и решать.

«Он был настоящим мужчиной, – сказал я. – И он знал, как надо умирать, когда пришло время. От жажды ли мы тут спятим, апачи ли нас подстрелят, или, того хуже, оскальпируют заживо – во всем этом мне видится дурной вкус. Лучше уж последовать за Рамоном Гальегосом».

«Пожалуй», – ответил Уильям Шоу.

«Пожалуй», – согласился и Джордж У. Кент.

Я сложил руки Рамона Гальегоса крестом на груди и накрыл ему лицо носовым платком.

«Хотел бы я упокоиться так же пристойно, – сказал Уильям Шоу. – Хоть ненадолго».

И Джордж У. Кент полностью с ним согласился.

«Так оно и будет, – пообещал я. – Краснокожие черти будут выжидать неделю, никак не меньше. Ты, Уильям Шоу, и ты, Джордж У. Кент, подойдите ко мне и станьте на колени».

Они повиновались, и я встал перед ними.

«Всемогущий Господь, Отец наш...», – начал я.

«Всемогущий Господь, Отец наш...», – повторил за мной Уильям Шоу.

«Всемогущий Господь, Отец наш...», – отозвался Джордж У. Кент.

«... отпусти нам грехи наши...», – продолжил я.

«... отпусти нам грехи наши...», – сказали и они.

«... и прими души наши».

«... и прими души наши».

«Аминь!»

«Аминь!»

Я положил их рядом с Рамоном Гальегосом и прикрыл им лица.

Тут один из наших, до той поры сидевший по ту сторону костра, вскочил на ноги и выхватил револьвер.

– А сам-то ты?! – крикнул он. – Сам-то ты спасся и жив до сих пор! Ты трусливая шавка, и пусть меня повесят, но я пошлю тебя за ними следом!

Но наш капитан пантерой прыгнул к нему и схватил за руку.

– Убери пушку, Сэм Енси! Убери пушку, тебе говорю!

Все мы вскочили на ноги... кроме незнакомца – он по-прежнему сидел на своем месте, словно все это его не касалось. Кто-то схватил Енси за левую руку.

– Капитан, – вмешался и я, – что-то тут не так. Этот тип или спятил, или просто врет. Но за байки у костра не убивают, слышишь, Енси? Если этот парень был с теми четырьмя, значит, всего их было пятеро. Он просто не упомянул одного – скорее всего, самого себя.

– Пожалуй, – согласился капитан. Он выпустил Сэма Енси, и тот сел на место. – Тут и вправду... что-то необычное. Несколько лет назад в пещере – это неподалеку отсюда – нашли четырех мертвецов. Все тела принадлежали белым, все были оскальпированы и страшно изуродованы. Там же их и похоронили. Я сам видел эти могилы... а завтра и вы все их увидите.

Незнакомец поднялся и несколько мгновений постоял, освещенный тусклым светом едва теплящегося костра – целиком захваченные рассказом, мы совсем забыли об огне.

– Нас было четверо, – промолвил он. – Рамон Гальегос, Уильям Шоу, Джордж У. Кент и Барри Дэвис.

С этим поминальником на устах он шагнул во тьму, и больше мы его не видели.

Тут же к костру подошел один из наших часовых. Ружье он держал в руках, и видно было, что он не на шутку встревожен.

– Капитан, – сказал он, махнув рукой в ту сторону, куда ушел незнакомец, – вон там, на холме, уже полчаса стоят какие-то три типа. Луна светит ярко, так что видел я их как на ладони. Ружей при них, похоже, нет, но я – от греха подальше – все время держал их на мушке. Они ничего особенного не делают, но, черт бы их побрал, здорово действуют мне на нервы!

– Иди на пост, и не возвращайся, пока снова их не увидишь, – велел капитан. – Остальным – спать, а то я вас всех в костер покидаю.

Часовой чертыхнулся и ушел, не оглянувшись. Мы начали укладываться, и тут неугомонный Енси спросил:

– Извините, капитан, но кто, по-вашему, эти трое, черт бы их забрал?

– Рамон Гальегос, Уильям Шоу и Джордж У. Кент.

– А как же Барри Дэвис? Все-таки надо было его пристрелить.

– А что толку? Мертвее он от этого не стал бы. Ложись-ка лучше спать.



Живший в Каркозе



«Ведь смерть предстает в разных обличьях: порой брэнное тело остается, а порой исчезает без следа вкупе с отлетевшей душой. Последнее чаще происходит вдали от глаз человеческих (ибо такова воля Божья), и мы, не будучи при кончине человека, говорим, что он безвестно пропал или отправился в дальнее странствие... и тут мы недалеко от истины. Но иногда – и тому немало свидетельств – человек исчезает на глазах у многих. Есть и такой род смерти, когда умирает лишь душа, причем со всей очевидностью, тело же живет еще долгие годы. Известно наверняка, что порой душа умирает вместе с телом, но через некий срок восстает, причем на том самом месте, где было погребено тело». Я обдумывал эти строки Хали (упокой Бог его душу), стараясь постичь их до конца, – ведь всякий, кто уловил основной смысл высказывания, задается вопросом, не упустил ли он какое-то иное, скрытое значение. Я весь ушел в размышления, ноги сами несли меня куда-то, как вдруг в лицо мне ударил холодный ветер и я вернулся к действительности. Посмотрев вокруг, я немало удивился: оказывается, я забрел в какое-то совершенно незнакомое место. И справа, и слева лежала почти плоская безлюдная равнина, поросшая высокой, но уже усохшей травой, которая шелестела и тревожно вздыхала на осеннем ветру. Бог весть, что таилось в этих вздохах. Чуть поодаль возвышались причудливые силуэты каких-то каменных громад, и хотя стояли они далеко друг от друга, мне показалось, что между ними есть какой-то сговор, что они обмениваются взглядами, многозначительными и недобрыми, и тянут шеи, чтобы не пропустить чего-то, издавна чаемого. Местами торчали высохшие деревья, похожие на главарей этих заговорщиков, затаившихся в зловещем ожидании.

Было, как мне показалось, далеко за полдень, но солнца я не видел. Воздух был сырой и промозглый, но это я понимал умом, а не ощущал телом – никаких неудобств я не чувствовал. Надо всем этим унылым пейзажем простирался низкий полог свинцово-серых туч, показавшийся мне воплощенным проклятием. Повсюду виделась угроза, чудились предзнаменования чего-то злого и неизбежного. Кругом не было видно ни птицы, ни зверя, ни даже мошки. Только ветер вздыхал меж голых ветвей мертвых деревьев, да серая трава, нагибаясь к земле, шепотом поверяла ей какую-то ужасную тайну. И больше – ни звука, ни движения; ничто не тревожило мрачный покой этого унылого места.

В траве я увидел в траве множество камней, некогда обтесанных человеческими руками, но изуродованных непогодами. Все они потрескались, поросли мхом, вросли в

землю. Одни лежали плашмя, другие торчали под разными углами, и ни один не стоял так, как его когда-то поставили. Очевидно, это были могильные камни, но от самих могил не осталось ни холмиков, ни впадин – годы сровняли все. Местами темнели глыбы побольше: там горделивые надгробья и кичливые памятники некогда бросали тщетный вызов забвению. И до того древними казались эти каменные останки, эти знаки тщеславия людского, а также любви и благочестия, такими они были побитыми и запущенными и столь одичалой, скудной и всеми позабытой была местность вокруг, что мне поневоле показалось, будто я открыл некрополь какого-то допотопного народа, от которого не сохранилось даже имени.

Углубленный в эти мысли, я совсем уж забыл обо всем, что было раньше, но вдруг мне подумалось: «Как же я здесь оказался?». Поразмыслив минуту-другую, я понял – хоть и без особой радости, – почему все, что меня окружает, видится мне таким странным и мрачным. Болезнь! Я вспомнил, как меня терзали жестокие приступы лихорадки, и что мои домашние рассказывали, будто в горячечном бреду я рвался на свободу, на свежий воздух. Они силком удерживали меня на ложе, а то бы я непременно убежал из дому. Похоже, я все-таки обманул бдительность врачей и своих близких и теперь вот очутился... Где? Я не мог даже предположить. Но ясно было, что занесло меня весьма далеко от моего родного города – издревле прославленной Каркозы.

Вокруг не было ни намека на людское жилье; не было видно ни дымка, не слышно ни собачьего лая, ни коровьего мычания, ни криков играющих детей – ничего, только унылое кладбище, которое моя больная фантазия к тому же еще и облекла тайной и ужасом. Может, меня снова одолела лихорадка, и ничего этого нет? И все вокруг – один лишь горячечный бред? Я звал жену и сыновей, пытался наощупь отыскать их руки, метался среди каменных обломков, топча увядшую траву.

Шум за спиной заставил меня обернуться. Прямо ко мне шел хищный зверь – рысь. Мелькнула мысль: «Если приступ свалит меня здесь, в этом безлюдье, она порвет мне горло...». Я бросился на зверя, громко крича. Но рысь спокойно пробежала мимо в паре шагов от меня и скрылась из глаз за одним из камней.

Почти тут же неподалеку словно из-под земли вынырнула голова человека – он поднимался по склону небольшого холма, едва возвышавшегося над равниной. Вскоре на сером облачном фоне нарисовалась и вся его фигура. Его торс прикрывала лишь звериная шкура, волосы, не ведавшие гребня, свалились и висели космами, длинная борода тоже. В одной руке он нес лук со стрелами, в другой – сильно коптящий факел. Человек шел неспешно, ступал осторожно, наверно, боялся провалиться в могильную яму, скрытую высокой травой. Странная фигура удивила меня, но не напугала, и я, встав у этого человека на пути, приветствовал его, как принято у нас: «Храни тебя Бог!».

Но он даже шага не замедлил, словно вовсе не слышал меня.

«Добрый путник, – не отступался я, – я болен и заблудился. Умоляю, укажи мне путь в Каркозу!»

Человек прошел мимо и, удаляясь, загорланил варварскую песню на каком-то неведомом языке.

С ветки тухлявого дерева зловеще крикнула сова, издали откликнулась другая. Я глянул вверх – облака как раз разошлись – и увидел Альдебаран и Гиады. Все говорило мне, что наступила ночь: и рысь, и факел в руке у встречного, и сова. Однако я видел все отчетливо, как днем... но видел и звезды, хотя темноты не было. Да-да, я видел все, а сам, похоже, был невидим и неслышим. Что же за страшные чары на меня наложили?

Я сел на корень большого дерева, намереваясь хорошенько все обдумать. Я почти не сомневался, что безумен, но что-то мешало мне поверить в это до конца. Ведь никаких признаков лихорадки не было. Напротив – я был силен и бодр, как никогда ранее, в мышцах

тела и в разуме присутствовало дотоле незнакомое возбуждение. Необычайно обострились и чувства: теперь я мог ощущать плотность воздуха и слышать тишину.

Обнажившиеся корни некогда могучего дерева, под которым я сидел, обнимали гранитную плиту; одна сторона ее находилась под самым стволом. Это в какой-то мере защитило плиту от ветров и дождей, но все-таки и ей досталось изрядно: грани ее скруглились, углы были сколоты, по всей плоскости змеились глубокие трещины. Возле плиты на земле блестели слюдяные чешуйки – даже гранит поддается разложению. Плита это когда-то накрывала могилу, из которой столетия назад и выросло это дерево. Его алчные корни давным-давно опустошили могилу и оплели надгробье.

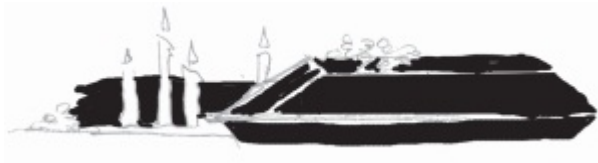
Порыв ветра смел с плиты сухие листья и обломки ветвей, и мне открылись выпуклые буквы надписи. Я нагнулся, чтобы прочесть ее. Боже правый! Мое имя... целиком!.. *мой* день рождения! – и день *моей* смерти!

Я в ужасе вскочил на ноги, и в тот же миг пурпурный луч зари осветил ствол дерева. Из-за горизонта на востоке поднималось солнце. Я стоял между стволом и огромным красным диском... но не отбрасывал тени!

Тоскливый волчий хор приветствовал рассвет. Волки сидели на надгробьях где поодиночке, а где – небольшими стаями; куда бы я ни бросил взгляд, везде были волки. И тогда я понял, что вокруг меня – руины издревле прославленной Каркозы.

* * *

Обо всем этом поведал медиуму Бэйроулзу дух Хусейба Аллара Робардина.



Взыскующий



Смело топча толщу снега, нападавшего за ночь, румяный мальчуган, сын одного из уважаемейших граждан Грейвилла, пролагал тропу для своей сестренки, а та семенила следом и поощряла его веселыми возгласами. Вдруг мальчик споткнулся обо что-то, скрытое глубоким снегом. Автор попытается рассказать, что это было, и как оно там оказалось.

Всякий, кому приходилось проходить по Грей-виллу при свете дня, видел, конечно, большой кирпичный дом, стоящий на невысоком холме севернее железнодорожной станции, то есть справа, если стать лицом к Грэйт Моубрей. Сей весьма унылый образчик «раннего летаргического стиля» невольно наводил на мысль, что зиждитель его наверняка предпочел остаться безвестным сам, раз уж не мог спрятать свой шедевр. А поскольку его принудили строить здание на самом возвышенном месте, он постарался, чтобы никого не потянуло взглянуть на него во второй раз. Но надо отметить, что форма в данном случае вполне соответствовала содержанию, поскольку «Дом Эберсаша для призрения престарелых» так и не прославился ни гостеприимством своим, ни радушием. Надо еще сказать, что размерами «Дом» впечатлял, и его щедрый основатель наверняка вложил в строительство прибыли от торговли чаем, шелками и пряностями; в Бостон, где и делались дела Эберсаша, все это привозили от антиподов целыми кораблями. Еще больше средств он поместил в попечительский фонд «Дома». Короче говоря, этот благотворительный эксцесс обошелся законным наследникам филантропа в верные полмиллиона долларов. Очень может быть, что ему захотелось оказаться как можно дальше от этого немого свидетеля и грандиозного памятника своей расточительности, и потому он, распродав все, что числилось за ним в Грейвилле, вскоре покинул город, где его считали мотом, и уплыл за океан на одном из своих кораблей. Присяжные сплетники, узнающие все непосредственно от ангелов Божиих, ручались, что он отправился на поиски спутницы жизни, но это плохо вязалось с мнением записного грейвиллского остролова, который уверял сограждан, будто холостой филантроп покинул этот мир – то есть Грейвилл, – дабы спастись от докучливого внимания местных девиц на выданье. Так или иначе, в Грейвилле Эберсаш больше не появлялся, и хотя порой туда долетали кое-какие сведения о его странствиях по миру, никто не смог бы рассказать о его судьбе что-либо определенное, так что подросточему поколению его имя уже ничего не говорило. Хотя, высеченное на камне над порталом «Дома для престарелых», оно по-прежнему горделиво напоминало о себе.

Впрочем, «Дом», даже и не блистая красотой, являл для своих насельников место, вполне пригодное для того, чтобы отгородиться от зол мирских, которых они хлебнули вдоволь – ведь они были старыми, неимущими и мужеского полу к тому же. В те времена, о которых ведет речь ваш покорный слуга, их там было десятка два, но их злобности, сварливости и черной неблагодарности с избытком хватило бы на добрую сотню. В этом мистер Сайлас Тилбоди, старший смотритель «Дома», был искренне убежден. Еще мистер Тилбоди был уверен, что попечители, принимая новых хрычей на место тех, кто перешел в лучший мир, преисполнены решимости достичь границ его долготерпения и напрочь лишить душевного покоя. Правду сказать, со временем, – а мистер Тилбоди управлял заведением не первый год, – он выносил мнение, что похвальный замысел филантропа-основателя вопиюще нарушается самим фактом пребывания в «Доме» призреваемых. Мечтами же мистер Тилбоди не воспарял выше превращения «Дома» в этакую идиллическую обитель, где он, радушный хозяин, мог бы обихаживать немногочисленную компанию состоятельных джентльменов, хорошо воспитанных и еще не старых, которые благодарно и охотно покрывали бы расходы на свое содержание. Для попечителей же, которым мистер Тилбоди, кстати сказать, был обязан как отчетом, так и своим местом, в его усовершенствованном варианте благотворительности места не находилось. Что же до самих попечителей, то Провидение, как считал уже упоминавшийся остряк, на то и поставило их у кормила богоугодного заведения, чтобы они упражнялись в одной из главных добродетелей – в бережливости. Мы воздержимся от выводов, пусть даже они, по его же мнению, сами напрашиваются. Воздержимся, поскольку не располагаем ни положительными, ни отрицательными свидетельствами самой заинтересованной стороны, то есть самих призреваемых. В «Доме» они доживали свои последние дни, после чего отправлялись в пронумерованные могилы, и их места занимали другие старики, так похожие на прежних, что казалось, будто их штампует какой-то дьявольский пресс. Даже если допустить, что пребыванием в «Доме» наказывались расточители, то надо признать, что одряхлевшие грешники соискали кары за грех свой с настойчивостью, отмечающей все сомнения в искренности раскаяния. Вот один из таких грешников и выходит сейчас на просцениум нашего повествования.

Если встречать по одежке, то человек этот нигде бы не обрел радушного приема. С первого взгляда он более походил на искусное творение пейзажиста, не желающего делить урожай с воронами небесными, каковые не сеют и не жнут, и разувериться в этом помог бы лишь второй взгляд, на который рассчитывать не приходилось. Да и шел он по Эберсаш-стрит, явно направляясь к «Дому» не быстрее, чем шло бы огородное пугало, обрети оно вдруг молодость, силу и предприимчивость. Одет он был, как мы уже намекали, из рук вон, но внимательный взгляд обнаружил бы в его платье остатки бывшего изящества и хорошего вкуса. Все в нем изобличало просителя, надеющегося на место в «Доме», пропуском куда могла служить лишь нищета. Лохмотья – мундиры в армии нищих, они же позволяют отличить ветерана от новобранца.

Старик миновал ворота, прошел по широкой дорожке, уже изрядно занесенной, почасту обмахивая свои лохмотья от снега, и наконец очутился перед высоким круглым фонарем, который ночами горел у главного входа. Но тут он повернул налево, словно свет пугал его, прошел вдоль длинного фасада и позвонил у другой двери, куда менее внушительной. Тут свет сочился лишь из полукруглого дюзедепорта, так что не мог никого осветить.

Дверь ему отворил сам мистер Тилбоди, монументальный в своем величии. При виде посетителя, – тот сдернул шляпу и сгорбился еще сильнее, чем обычно, – сей столп милосердия не выказал ни удивления, ни досады. Дело было в том, что мистер Тилбоди пребывал в редкостно хорошем расположении духа, как и подобало в такой день – ведь наступал сочельник и на завтра ожидалась благословеннейшая для христиан триста шестьдесят пятая часть года, которую оне знаменуют искренним ликованием и многими подвигами благоче-

ствия. Вот и мистера Тилбоди переполняли чувства, предписанные церковным календарем; полное лицо лоснилось, белесые глаза поблескивали, помогая безошибочно отличить его физиономию от переспелой тыквы. Он так сиял, что в его лучах, наверное, можно было бы загорать. На голове его была шляпа, на ногах – высокие сапоги, на плечах – пальто, а в руке – зонтик. Именно так одевается человек, чтобы, преодолев ночь и непогоду, исполнить долг перед чадами своими – мистер Тилбоди собрался в город, дабы приобрести предметы, подкрепляющие ложь о толстеньком святом, который ежегодно спускается по каминным трубам и вознаграждает мальчиков и девочек, отличившихся послушанием и, главное, правдивостью.



Со стариком он поздоровался весьма радушно, хотя зайти, понятно, не пригласил.

– Привет! Вы едва меня застали. Я очень спешу, так что давайте... пройдемся немножко.

– Спасибо... – ответил старик. На его лице, бледном, но с тонкими чертами, при свете из открытой двери можно было прочесть разочарование. – Если господа попечители... мое прошение...

– Господа попечители единогласно решили отклонить его, – ответил мистер Тилбоди, затворяя перед ним врата как в прямом, так и в переносном смысле, отчего вместе со светом угасла и надежда.

Не всякие чувства подобают дням Рождества, но что тут поделаешь: Юмор, как и Смерть, с календарем не считается.

– Господи! – вскричал старик, но голос его был так слаб, что возглас нимало не впечатлил и даже чуть не раздосадовал того, кто его слышал. Что же до Другого... впрочем от нас, смертных, это сокрыто.

– Что ж, – продолжил мистер Тилбоди, приноравливая шаг к походке старика, который без особого успеха старался ступать в свои следы, еще заметные в снегу, – учитывая определенные обстоятельства, не совсем, надо сказать, обычные – вы, конечно, понимаете, что я имею в виду, – попечители пришли к выводу, что для «Дома» вы окажетесь не самым удобным призреваемым. Как старший смотритель «Дома», а также секретарь попечительского совета, – стоило мистеру Тилбоди огласить свой полный титул, и громоздкий дом, чьи очертания еще виднелись сквозь падающий снег, словно съезжился, – я полагаю необходимым повторить вам слова дьякона Байрема, председателя нашего совета. Он сказал, что обстоятельства эти делают ваше проживание в «Доме» совершенно нежелательным. Движимый долгом христианина, я пересказал уважаемому попечительскому совету все то, что вы вчера поведали мне о нужде, болезнях и прочих испытаниях, которые обрушились на вас волею Провидения, чтобы вам самому не пришлось снова рассказывать обо всех ваших бедах. Но в итоге досконального и, да позволено мне будет так выразиться, благочестивого рассмотрения вашего прошения – со всей снисходительностью и человеколюбием, естественными накануне такого праздника, – попечители все же решили, что мы не должны давать никому ни малейшего повода сомневаться в том, сколь важно предназначение «Дома», который Господь вверил нашим заботам.

За таким вот разговором они вышли на улицу; фонарь у ворот еле виднелся сквозь снежную завесу. Прежние следы уже занесло, и старик вдруг остановился, словно не зная, куда ему идти. Мистер Тилбоди прошел еще пару шагов и оглянулся, явно желая продолжить монолог.

– Так вот, если учесть определенные обстоятельства, – сказал он, переходя к резюме, – то решение...

Но ораторский запал мистера Тилбоди пропал вотще и втуне: старик пересек улицу, повернул к пустырю и медленно пошел куда ноги несли, а поскольку податься ему было некуда, то направление он избрал, если вдуматься, верное.

Вот поэтому-то на следующее утро, когда церковные колокола Грейвилла в честь праздника перезванивались истово и радостно, румяный сынишка дьякона Байрэма, протопав по свежему снегу тропу к храму Божьему, споткнулся о мертвое тело Амоса Эберсаша, филантропа.



Смерть Альпина Фрейзера



...ведь смерть меняет нас куда больше, чем это может заметить взор человеческий. Чаще всего перед нами предстает душа, реже она облекается плотью (иными словами, телом, в котором она некогда обреталась, но бывает и так, что в наш мир приходит лишь тело, лишенное души. Это подтверждается многими свидетельствами тех, кому случилось видеть восставших из могил, которые не обладали ни обычными чувствами, ни памятью, зато бывали преисполнены ненавистью. А еще известно, что души, при жизни праведные, по смерти делаются вместилищами зла.

Хали

I

Посреди темной летней ночи мужчина, спавший в лесу, пробудился от забытья, в котором не было сновидений. Он приподнялся на локте, осмотрелся – вокруг был только лес – и вдруг сказал: «Кэтрин Ларю». Только это и сказал, да и то, признаться, неизвестно почему.

Звали этого мужчину Альпин Фрейзер. Раньше он жил в городке Санта-Элена, а где он обретается сейчас, никто толком не скажет, поскольку его уже нет в живых. Тому, кто имеет обыкновение спать в лесу, когда периной служит голая земля, усыпанная лишь прошлогодней листвой, а покрывалом – небеса, некогда исторгшие землю и видимые теперь сквозь листья, которым вскоре предстоит упасть, не стоит рассчитывать на долголетие. Фрейзеру уже сровнялось тридцать два. В нашем с вами мире миллионы людей – кстати, самые лучшие из нас, – считают такой возраст едва ли не преклонным. Я имею в виду детей. Они ведь смотрят на жизнь, так сказать, из порта отбытия, и потому им кажется, что любой корабль, уже поплававший по ней, совсем близок к той, последней гавани. Я, однако, не решусь утверждать, что смерть Альпина Фрейзера наступила в силу каких-то обыденных причин.

Весь прошлый день он бродил по лесистым горам к западу от долины Напа, выслеживая голубей и прочую дичь. Ближе к вечеру облака затянули небо, и Альпин Фрейзер сбился с пути. Ему следовало бы спуститься в долину – там было бы безопаснее, – но он, заплутав, так и не нашел тропы. Вот и вышло, что ночь застала его в лесу. В темноте он не смог пробраться сквозь заросли толокнянки и прочую поросль, и пришлось ему, усталому и раздосадованному, удовольствоваться пологом большого земляничного дерева. Сон мгновенно овладел им. Минуту несколько часов, и в полуночную пору кто-то из вестников Господних, что сонмами летят на запад, предвеляя рассвет, шепотом своим прервал его сон. Фрейзер проснулся, и с его уст неизвестно почему слетело незнакомое имя.

Альпин Фрейзер не был ни философом, ни естествоиспытателем. То, что проснувшись в лесу, он вслух произнес имя, которого явно не было прежде в памяти и которому просто неоткуда было прийти на ум, не вызвало в нем желания разобраться в явлении. Мелькнула было мысль, что это довольно странно, он поежился, – но это могло быть и от ночной прохлады, – а потом улегся поудобнее и снова уснул. Но теперь его забытье наполнилось сновиденьями.

Ему снилось, будто он идет по дороге, покрытой белой пылью и потому ясно видимой во тьме летней ночи. Он не знал, откуда и куда она ведет, не знал, почему и зачем он идет по ней, все казалось ему вполне естественным, как это обычно бывает во сне. В Сонной Стране ничто не способно нас удивить, поскольку здравый смысл тоже отдыхает. Вскоре он оказался на распутье: в сторону шла тропа, по которой, как ему показалось, уже давно никто не ходил – ведь она вела к неминуемой беде. И все-таки он свернул на нее, точнее сказать, его заставила свернуть какая-то властная сила.

Вскоре он осознал, что ему сопутствуют невидимые существа, для которых у него не было названия. Из-за деревьев, что высились по обеим сторонам дороги, до его ушей долетал едва слышный шепот на каком-то странном языке, который он, впрочем, отчасти понимал. И из этих внятных обрывков он уяснил себе, что кто-то злоумышляет сотворить с его плотью и душой нечто чудовищное.

Уже давно стемнело, но бесконечный лес, через который он шел, был наполнен бледным свечением, и не понять было, откуда оно идет, ибо свет был, но не было теней. В колее блеснула лужица, наверное, оставшаяся от последнего дождя, но отблеск был багровым. Он наклонился, макнул в нее пальцы, и они сделались красными – то была кровь! Он огляделся и увидел, что кровью забрызгано все вокруг. Особенно заметными были пятна на широких листьях сорняка, которым заросли обочины. Да и пыльную полосу между колеями изрыбили

красные ямки, словно после кровавой мороси. А по древесным стволам ползли алые потеки, и листья были обрызганы кровавой росой.

Он смотрел на все это со страхом, который странным образом уживался в его душе с ощущением, что так все и должно быть. Ему казалось, будто так вершится его кара за некое преступление, кара вполне справедливая, хотя вины за собой он не помнил. К тому, что творилось вокруг, добавились еще муки совести, и ужас из-за этого стал сильнее. Он понапрасну ворошил свою память, стараясь отыскать корни своего греха – образы и сцены сбились в его мозгу невообразимой кучей, одна картина наслаивалась на другую, и обе вдруг переворачивались и растворялись в хаосе, нигде не виделось даже намек на то, что он искал. И неудача эта влекла за собой новый ужас; Альпин Фрейзер чувствовал себя так, как если бы убил кого-то в темноте, неведь кого, неведь почему. Положение, в котором он очутился, можно было назвать беспросветным, хотя вокруг и разливалось сияние, зловещее и таинственное, сулящее что-то невыразимо ужасное; со всех сторон толпились, уже не таясь, деревья, травы и кусты, издавна и повсюду известные своей вредоносностью, отовсюду неслись шепотки и вздохи потусторонних созданий. Не в силах доле выносить этот ужас, страстно желая разбить колдовские оковы, что заставляли его молчать и стоять недвижно, он закричал во весь свой голос! Но крик его, казалось, тут же раздробился на множество причудливых голосков, которые, перекликаясь, унеслись в лесную глушь и там затихли. Ничто вокруг не изменилось, но Альпин Фрейзер приободрился.

– Я не покорюсь, – сказал он вслух. – Не одни же демоны властвуют на этой проклятой дороге, здесь могут быть и добрые силы. Я оставлю им послание, расскажу им о своих ошибках и скитаниях... я, немощный смертный, кающийся грешник, кроткий поэт!

Здесь следует сказать, что поэтом – да и кающимся грешником тоже – Альпин Фрейзер был только во сне.

Достав из кармана записную книжку в переплете красной кожи – исписана она была лишь наполовину – он вспомнил, что карандаша у него нет. Тогда он отломил с куста ветку, обмакнул в кровавую лужицу и принялся лихорадочно писать. Но как только ветка коснулась листа, из какого-то отдаленнейшего далека до него донеслись раскаты дикого хохота. С каждым мгновением он приближался, делаясь все громче и громче, этот ледяной, безрадостный, нечеловеческий хохот, похожий на крик гагары над пустым полновечным озером. Наконец он перешел в истошный вопль, причем вопили, похоже, совсем рядом, а потом затих, словно люта тварь, из чьей глотки он исходил, убравшись за пределы нашего мира. Но Альпин Фрейзер чувствовал, что чудовище притаилось где-то неподалеку.

Мало-помалу его телом и разумом овладело странное ощущение. Он не мог бы сказать, через какой из органов чувств оно просочилось; казалось, они тут вовсе не при чем – это больше походило на прямое, непосредственное знание. Неизвестно почему он уверился, что рядом обретается нечто злое, сверхъестественное, но совершенно иной природы, чем роящиеся вокруг создания, а главное – много превосходящее их своею мрачной мощью. Теперь он знал наверняка, что именно оно так страшно хохотало. И теперь оно неумолимо приближалось к нему, но откуда, с какой стороны – он не знал... а оглядеться боялся. Все прежние страхи отлетели, вернее сказать, их поглотил неопишущий ужас. Поглотил он и Альпина Фрейзера, всего, целиком. В голове билась лишь одна мысль: надо дописать послание силам добра, которые все-таки заглянут сюда когда-нибудь, заглянут и спасут его, если, конечно, ему не будет даровано блаженное небытие. Сочающаяся кровью ветка забегала по листу с невероятной быстротой, но вдруг посреди строки руки отказались служить и повисли, как плети, а записная книжка упала на землю. И тогда Альпин Фрейзер, не имеющий уже сил ни двинуться, ни хотя бы крикнуть, увидел прямо перед собой бледное лицо и пустые, мертвые глаза своей матери. Она молча стояла перед ним в белом смертном облачении!

II

Свое детство и юность Альпин провел с родителями в Нэшвилле, штат Теннесси. Семейство Фрейзеров было зажиточным и пользовалось уважением в обществе, точнее сказать, среди его остатков, переживших гекатомбу гражданской войны. Детям своим они дали самое лучшее воспитание и образование, какое можно было дать в то время и в тех краях, а уж наставники постарались привить им хорошие манеры и развить умственные способности. Альпин, ребенок не самого крепкого здоровья, был в семье самым младшим, и мать буквально носилась с ним. Что же до отца, то он едва обращал на мальчика внимание; как большинство состоятельных южан, Фрейзер-старший всецело отдавал себя политике, точнее сказать, делам штата и округа. То, что говорили домашние, он пускал мимо ушей, ему были более привычны споры государственных мужей, к числу которых он, само собой, причислял и себя.

Со временем Альпин превратился в мечтательного, даже, пожалуй, романтического юношу, мало склонного к какой-либо практической деятельности; юриспруденции, которой предстояло стать его профессией, он явно предпочитал литературу. Те из его родственников, кто уверовал в теорию наследственности, считали, что в нем воплотилась натура Майрона Бейна, прадеда по материнской линии. Тот тоже более всего был склонен к романтической созерцательности, что отнюдь не помешало ему сделаться одним из заметных поэтов колониальной эпохи. Наверное, каждый из Фрейзеров был обладателем роскошно изданного сборника его поэтических опусов, который был отпечатан за счет семейства и довольно быстро исчез из книжных лавок. Но к Альпину семейство относилось с явственным предубеждением, подозревая в нем этакую паршивую овцу, которая, того и гляди, опозорит все стадо, заблеяв в рифму. Фрейзеры из Теннесси были людьми практичными, хотя филистерами их никто бы не назвал. Просто в их кругу осуждалось все, что могло отвлечь мужчину от его естественного занятия – политики.

Некоторым оправданием юному Альпину могло служить лишь то, что при всех своих качествах, унаследованных, если верить семейному преданию, от барда-аристократа колониальных времен, сам он поэтическим талантом не обладал. Он никогда не пытался оседлать Пегаса, более того, не смог бы даже под страхом смерти породить стихотворную строфу. Но мог ли кто поручиться, что дар этот однажды не проснется в нем и рука не потянется к кифаре?

А пока юноша рос, ни в чем не испытывая недостатка. Мать свою он очень любил, равно как и она его. Здесь надо еще сказать, что миссис Фрейзер была преданной поклонницей покойного Майрона Бейна, хотя природная женская скромность, – которую злые языки предпочитают называть коварством – заставляла ее держать эту привязанность в тайне ото всех, кроме сына, питавшего к своему прадеду те же чувства. Естественно, эта общая тайна связывала их еще крепче. Пожалуй, можно было согласиться, что мать избаловала юного Альпина, да он и не сопротивлялся. Достигнув же зрелой поры, если так можно сказать о южанине, который не интересуется политикой, он еще сильнее привязался к матери – очаровательной женщине, которую он с детских лет привык звать просто Кэти. В этих двух мечтательных натурах словно воплотилось свойство, природу которого обычно толкуют превратно: преобладание чувственного начала во всех жизненных проявлениях, способное украсить и обогатить даже обычные отношения кровных родственников. Мать и сын были буквально неразлучны, и люди посторонние нередко принимали их за возлюбленных.

Но однажды Альпин Фрейзер зашел в будуар матери, поцеловал в лоб, тронул ее черный локон и спросил, с трудом скрывая волнение:

– Кэти, ты не будешь возражать, если я на несколько недель съезжу по делам в Калифорнию?

Она могла бы и не отвечать: бледность, залившая ее щеки, была весьма красноречива. Кэти явно намеревалась возражать, и слезы в ее больших карих глазах были тому подтверждением.

– Сынок, – сказала она, глядя на Альпина с бесконечной нежностью, – я ждала чего-то такого. Неспроста я не спала полночи и плакала. Мне приснился дедушка Бейн. Он стоял у своего портрета, такой же молодой и красивый, как на нем, и указывал на твой портрет, что висит рядом. Я посмотрела и не увидела твоего лица: оно было закрыто платком, как у покойника. Я рассказала сон твоему отцу – он только посмеялся. Но мыто с тобой знаем, что такое вот без причины не снится. А пониже платка я увидела синяки, словно от чьих-то пальцев... прости, но ведь мы никогда ничего не скрываем друг от друга. Как прикажешь это толковать? Конечно, ты скажешь, что к твоей поездке это не имеет никакого отношения. А может, мне стоит поехать с тобой?

Надо сказать, что такое толкование сновидения, хоть и согласовывалось с новомодными теориями, не произвело на сына особого впечатления, поскольку он более матери был склонен к логическому мышлению. Ему в ту минуту показалось, что сон этот никак не связан с поездкой на тихоокеанское побережье, скорее уж предвещает, что его удушат здесь и сейчас.

– А может, в Калифорнии есть какие-нибудь целебные воды? – спросила миссис Фрейзер прежде, чем Альпин успел высказать свое толкование ее сна. – Нужно же мне, наконец, избавиться от ревматизма и невралгии. Смотри, пальцы у меня едва гнутся. Наверняка это из-за них я не могу даже спать толком.

Она протянула сыну руки, чтобы он убедился сам. Нам неизвестно, какой диагноз поставил ей молодой человек, ибо он счел за благо промолчать, только улыбнулся; скажем лишь, что еще ни один мнительный пациент не предъявлял врачу пальцев более гибких и менее подверженных приступам боли.

В конечном итоге из этих двух своеобразных натур, имеющих одинаково необычные представления об обязанностях, один поехал в Калифорнию, как того требовали интересы его клиента, другая же осталась дома, не без терзаний, которых, впрочем, муж даже не заметил. В Сан-Франциско Альпин Фрейзер противу своего желания стал моряком. Проще говоря, его напоили, и проснулся он уже в открытом море на борту этакого развеселого парусника. Но злключения его тем не кончились: корабль сел на мель у необитаемого острова, расположенного в южной части Тихого океана. Только через шесть лет уцелевших моряков приняла на борт и доставила в Сан-Франциско некая торговая шхуна.

И хотя в кошельке Альпина Фрейзера гулял ветер, духом он остался столь же горд, как и в прежние годы, казавшиеся теперь такими далекими: он отверг помощь, предложенную посторонними людьми, и поселился с одним из своих братьев по несчастью в окрестностях городка Санта-Эле-на, ожидая вестей и денежного вспомоществования из дома. Вот в эти-то дни он и отправился на охоту, которая и завершилась вынужденной ночевкой в лесу.

III

То, что предстало взору нашего мечтателя в заколдованном лесу – видение, так похожее и так не похожее на его мать, – было ужасно! Душа его не отзывалась ни любовью, ни тоской, ни воспоминаниями о золотой поре юности, ни каким-либо иным чувством: все вытеснил невыносимый ужас. Он хотел бежать, но ноги словно приросли к земле. Руки повисли, беспомощные и бесполезные, и только глаза еще не утратили способности видеть. Фрейзер никак не мог отвести взгляд от блеклых глаз призрака. Он вдруг понял, что перед ним вовсе не бестелесная душа, а самое страшное из всего, что можно встретить в лесу, полном призраков, – тело, лишенное души! В пустом взгляде не читалось ни любви, ни жалости, словом, ничего, что позволяло бы надеяться на пощаду. «Апелляция отклоняется», – невеста почему-то мелькнула в голове Альпина процессуальная формула, и ее совершенная неуместность только усилила ужас; так разверстая могила кажется еще страшнее, если над нею чиркнуть спичкой.

Долго-долго – казалось, за это время весь мир успел поседеть от старости и грехов, а лес, породивший чудовище, напроочь стереться из сознания вместе со свечением и шепотами – Фрейзера буравил взгляд, в котором не было ничего, кроме алчности дикого зверя. Потом призрак вытянул вперед руки и яростно бросился на свою жертву! Тут силы вернулись к Альпину, хотя воля его по-прежнему была парализована ужасом; разум был помрачен, но сильное тело и ловкие члены сопротивлялись сами, словно были наделены собственной жизнью, слепой и нерассуждающей. Несколько мгновений он, словно во сне, наблюдал это неестественное состязание омертвело рассудка с машиной из плоти и крови, потом вновь обрел власть над собой, облекся в собственное тело и стал бороться с яростью, едва ли уступающей ярости его ужасного супостата.



Но может ли смертный одолеть порождение собственного сна? Сознание, породившее такого врага, побеждено с самого начала, и исход схватки предreshен ее причиной. И хотя дрался он отчаянно, все его усилия пропали втуне и ледяные пальцы в конце концов сомкнулись у него на горле. опрокинутый наземь, он еще успел увидеть совсем рядом мертвое лицо, искаженное яростной гримасой, а потом все поглотила тьма. Послышался рокот, словно где-

то вдалеке били барабаны, потом невнятные голоса и вопль, после которого все смолкло. Альпину Фрейзеру приснилось, что он умер.

IV

После теплой ясной ночи наступило сырое туманное утро. А накануне, ближе к полудню, у западного склона горы Санта-Элена, ближе к ее голой вершине, появилось нечто такое, что и облаком-то нельзя назвать, скорее уж эскизом облака, таким воздушным сгущением. Оно было так эфемерно, так зыбко, так похоже на сон, готовый вот-вот воплотиться, что хотелось воскликнуть: «Смотрите, смотрите скорее! Сейчас оно растает!». Но уже через минуту оно стало больше и плотнее. Уцепившись краем за вершину, оно поползло над склоном, разрастаясь как к северу, так и к югу, поглощая облачка поменьше, которые словно именно для этого и висели над горой. Оно все росло и росло. Сперва оно скрыло вершину горы, потом затянуло всю долину необъятным серым пологом. В Калистоге, что стоит у самого подножья горы, ночь была беззвездной, а утро пасмурным. Туман, опустившийся в долину, пополз к югу, накрывая одно ранчо за другим, а вскоре заполонил и городок Санта-Элена, расположенный в девяти милях от Калистоги. Пыль, напитавшись влагой, осела на дороги, с листьев капало, птицы забились в свои гнезда, а утренний свет был тусклым и бледным – ни бликов, ни ярких красок.

С рассветом двое мужчин вышли из Санта-Элены и двинулись на север долины, в сторону Калистоги. За плечами у них висели ружья, но никто из местных нипочем не принял бы их за охотников. Одного из них звали Холкером, он был в Напе помощником шерифа, второго, детектива из Сан-Франциско, Джералсоном. А охотиться они привыкли на людей.

– Далеко еще? – спросил Холкер. Шли они уже довольно долго, оставляя во влажной дорожной пыли цепочки светлых сухих следов.

– До Белой Часовни? С полмили или меньше, – ответил его спутник и добавил: – Собственно, никакая это не часовня, и вовсе она не белая – просто заброшенное здание школы, давно посеревшее от старости. Когда-то, правду сказать, в нем проводились службы и стены у него были побелены, но сейчас там только кладбище и осталось, такое, знаете ли, способное впечатлить поэта. Кстати, вы не догадываетесь, зачем я вас с собой позвал, да еще и оружие попросил захватить?

– Я не люблю гадать. Сами скажете, когда придет время. Впрочем, если угодно, вот вам мое предположение: вам нужна моя помощь, чтобы арестовать кого-то из тамошних покойников.

– Бранскома помните? – спросил Джералсон, оставив без внимания шутку, чего она, впрочем, только и заслуживала.

– Типа, который перерезал горло жене? Конечно, помню. Неделю на него угробил, да и потратился изрядно. За него обещали пять сотен долларов, но его словно черти унесли. Так вы хотите сказать, что?..

– Именно. Все это время он был у вас под носом. А по ночам он приходит на старое кладбище у Белой Часовни.

– Черт! Ведь именно там похоронили его жену.

– Точно. И можно было догадаться, что рано или поздно он придет к ней на могилу.

– Вот там-то, пожалуй, ему бы и не следовало маячить.

– Но все прочие возможные места вы уже перевероростили. Вот я и решил устроить засаду на кладбище.

– И прищучили его?

– Ни черта подобного! Это он меня прищучил. Мерзавец подкрался сзади и взял меня на мушку. Пришлось уносить ноги. Еще слава Богу, что не продырявил. Скажу я вам, это тот еще тип. Так что, если вы не против, вознаграждение можем поделить пополам.

Холкер добродушно хохотнул и доверительно сообщил, что сейчас его кредиторы совсем остервенели.

– Сначала давайте хорошенько осмотрим место, а уж потом и план составим, – предложил детектив. – А оружие, подумал я, нам и днем не помешает.

– Готов присягнуть, что этот тип – сумасшедший, – заметил помощник шерифа. – А вознаграждение полагается за поимку и водворение в тюрьму. Психопату же место не в тюрьме, а в желтом доме.

Мистера Холкера так поразила возможность такого исхода, что он даже остановился посреди дороги, а когда двинулся дальше, прежнего рвения в нем заметно не было.

– Вполне может быть, – согласился Джералсон. – Правду сказать, такого небритого, нестриженного, грязью заросшего и так далее типа можно встретить лишь среди рыцарей древнего и славного ордена бродяг. Но раз уж дело начато, надо его закончить. Как бы ни повернулось, слава от нас никуда не денется. Ведь никто, кроме нас с вами, не знает, что он крутится по эту сторону Лунных гор.

– Ладно... – сказал Холкер. – Пойдемте осмотрим место. – Он добавил излюбленную составителями эпитафий формулу: – «Где и мы упокоимся в свой черед»... причем довольно скоро – когда Бранскому надоест, что мы шныряем вокруг его лежки. Кстати, я слышал, будто Бранском – не настоящая его фамилия.

– И как же его звать по-настоящему?

– Не могу вспомнить, хоть вы меня убейте. Я позабыл было об этом мерзавце, ну, и фамилия в памяти не задержалась. Парди, кажется... или что-то в этом роде. А женщина, которой он перерезал горло, ко времени их встречи была вдовой. В Калифорнию она приехала, надеясь отыскать какого-то родственника... такое бывает не так уж редко. Ну, да вы и без меня это знаете.

– Конечно, знаю.

– А как же вы, не помня имени, установили нужную могилу?

– Я ее так и не установил, – с заметной неохотой признался Джералсон. – Просто осмотрел кладбище, так сказать, в целом. Ну, вдвоем-то мы и могилу найдем. Кстати, вот и Белая Часовня.

Дорога, до тех пор стелившаяся меж полей, теперь подошла к густому лесу. Теперь слева от нее поднимались дубы, мадронии и высоченные ели, а поросль помельче тонула в тумане. Подлесок был очень густой, но вполне проходимый. Сперва Холкер не разглядел Белую Часовню, но когда они вошли в лес, в тумане обрисовались ее контуры. Оттуда здание виделось очень большим, и казалось, что до него еще идти и идти. Но буквально через несколько шагов сыщики очутились совсем рядом с нею – посеревшее от сырости строение весьма скромных размеров, выдержанное в том стиле, который порой называют ящичным, типичном, впрочем, для сельских школ. Фундамент из валунов, поросшая мхом крыша, пустые, без стекол и рам, оконные проемы – все было при ней. Здание ветшало, но в руину еще не обратилось, и являло собой типичный калифорнийский вариант того, что путеводители для европейцев именуют памятниками американской старины. Джералсон едва удостоил строение взглядом и двинулся дальше через сочащийся влагой подлесок.

– Сейчас покажу место, где Браском меня прищучил, – сказал он. – Кладбище – вот оно.

Среди кустов стали попадаться ограды, в которых чаще всего было не более одной могилы. О том, что это именно могилы, говорили выцветшие камни и полусгнившие доски, стоящие под всевозможными углами в изголовьях и изножьях, а порой и вовсе поваленные. А там, где ограды давно повалились и истлели, могилу позволял определить белый гравий, заметный под палой листвой. Хватало тут и безымянных могил, где останки бедняги, оставившего в нашей юдоли скорби «множество безутешных друзей», пребывали в полном от них забвении под осевшими холмиками, более долговечными, чем людская память. Если

здесь когда-то и были дорожки, они давно уже заросли, на иных могилах успели вырасти довольно большие деревья, чьи корни и ветви напирали на ограды и в конце концов сокрушали их. На кладбище этом в полной мере ощущалась атмосфера тлена и запустения, в особенности свойственная позабытым некрополям.

Джералсон и Холкер решительно ломились сквозь молодую поросль, но детектив – он шел первым – вдруг замер, жестом остановил спутника и сдернул с плеча ружье. Он пристально рассматривал что-то впереди. Холкер тоже насторожился, хотя и не заметил ничего подозрительного. Секунду-другую спустя Джералсон осторожно двинулся вперед, и компаньон последовал за ним.

Под гигантской елью, широко распростершей свои ветви, лежал мертвец. Подойдя к телу, сыщики внимательно его осмотрели, пытаясь в самых общих признаках – одежде, выражению лица, положению тела – отыскать ответ на вполне естественный вопрос.

Мертвец лежал на спине, ноги были широко раскинуты, одна рука закинута за голову, другая прикрывала горло, кулаки – сведены смертной судорогой. Все говорило о том, что покойный отчаянно, хотя и безуспешно, сопротивлялся. Но кому... или чему?

Рядом с телом валялись дробовик и ягдташ, из-под сетки которого топорщились перья подстреленных птиц. Вокруг все тоже свидетельствовало о жестокой схватке: побеги падуба надломлены, кора местами содрана, палая листва по сторонам от ног мертвеца разворошена до земли, там же заметны были и две вмятины, явно от чьих-то колен.

Кое что прояснилось, когда сыщики осмотрели лицо и шею мертвеца. Его руки и грудь были белыми, лицо же – багровым, почти черным. Плечи лежали на небольшой кочке, а голова была повернута под неестественным углом. Мертвые глаза пялились куда-то вверх и вдаль. На губах застыла пена, изо рта свисал язык, почерневший и разбухший. На горле видны были страшные следы: не просто синяки от пальцев, а сплошной кровоподтек, да еще и рваные раны. Кто-то, обладавший невероятной силой, долго еще терзал это горло, когда несчастный был уже мертв. И грудь, и горло, и лицо мертвеца были влажны, одежда промокла насквозь, капли росы блестели в шевелюре и на усах.

Осматривая тело, они не обменялись ни словом – все и так было ясно обоим.

– Вот бедняга! – сказал наконец Холкер. – Ну и досталось же ему.

Джералсон, взяв ружье на изготовку, внимательно осмотрел заросли вокруг.

– Дело рук законченного психопата, – сказал он, не отводя взгляда от кустарника. – Не удивлюсь, если это был Бранском, он же Парди.

Тут Холкер высмотрел в палой листве что-то красное. Это была записная книжка в кожаном переплете. Он поднял ее и перелистал. На первой странице значилось: «Альпин Фрейзер». Далее шли стихотворные строфы, написанные чем-то красным и явно в страшной спешке. Пока Джералсон придирчиво осматривал подернутые туманом окрестности и вслушивался, не слыша, впрочем, ничего, кроме капель росы, падающей с листьев,

Холкер стал читать вслух, с трудом разбирая торопливый почерк:

Под мрачной сенью чащи колдовской,
Нездешним, зыбким светом осиянной,
Где сплелся падуб ветками с сосной,
Стоял я и тоской томился странной.
У стоп моих – дурман и белена,
Бессмертник чахлый побежден крапивой.
Поодаль, молчалива и мрачна,
Склонила ветви траурная ива.
Казалось, будто лес навек уснул.
Недвижный воздух тленьем был напитан.

Не слышно птиц, умолк пчелиный гул.
Все саваном безмолвия укрыто.
Вдруг – шепот, тихий, слышимый едва, —
То призраков сплотился сонм унылый.
Сочились кровью листья и трава,
Мерещилась разверстая могила...
Я закричал, но лес рассеял звуки.
Длань ледяная мне зажала рот.
Не знаю я, за что мне эти муки,
Не ведаю я, кто меня спасет.
Но вдруг незримый...

Холкер умолк: больше читать было нечего – рукопись обрывалась на середине строки.
– Похоже на Бейна, – сказал Джералсон, обнаруживая знания, неожиданные для детектива. Он был уже не так насторожен и спокойно смотрел на тело.

– А кто это? – спросил Холкер, больше ради приличия.

– Майрон Бейн, лет сто назад он был довольно известным поэтом. Стихи у него, надо сказать, были на редкость мрачные. У меня есть его томик, но этого стихотворения я не помню. Наверное, позабыли включить.

– Экая мозглая погода, – поежился Холкер. – Пойдемте отсюда. Нам ведь еще надо вызвать coronera из Напы.

Джералсон молча кивнул; обходя кочку, на которой покоились плечи убитого, он споткнулся обо что-то. Он разворошил листву, и открылось надгробие с едва различимой надписью «Кэтрин Ларю».

– Ларю, конечно же, Ларю! – с воодушевлением воскликнул Холкер. – Ларю, а вовсе не Парди – вот настоящая фамилия Бранскома. Господи!.. А ведь женщина, которую он зарезал, прежде звалась миссис Фрейзер!

– Здесь какая-то адская тайна, – пробормотал детектив Джералсон. – Не нравится мне все это.

Тут из дали, затянутой туманом, до них донесся смех – хриплый, бездушный и какой-то искусственный. Радости в нем было не больше, чем в хохоте гиены, тревожащем безмолвную ночь. Он становился все громче, слышался все ближе и ближе, делался все страшнее. Казалось, хохочущее существо вот-вот выступит из тумана. И таким отвратительным, таким нечеловеческим, скорее уж дьявольским был этот хохот, что души бывалых охотников на людей преисполнились ужасом! Они даже не вспомнили о своих ружьях – против *такого* пули бессильны. Вскоре хохот стал затихать, так же медленно, как только что нарастал, и наконец его последние тоскливые всхлипы истаяли, и воцарилось беспредельная тишина.



Страж покойника

I



Мертвец, покрытый саваном, лежал в одной из верхних комнат заброшенного дома, стоящего в том районе Сан-Франциско, который известен под названием Норт Бич. Было около девяти вечера, комната слабо освещалась единственной свечой. Оба окна были закрыты, даже шторы задернуты, хотя погода стояла теплая, да и покойникам издавна повелось предоставлять побольше воздуха. Из мебели в комнате стояли лишь кресло, конторка, на которой горела свеча, и большой кухонный стол; на нем и лежало тело. Человек наблюдательный сразу определил бы, что все эти предметы – и труп в том числе – принесли сюда недавно: на них не успела осесть пыль, а весь пол был покрыт ею, словно ковром, да и в углах тенет хватало.

Контуры тела вырисовывалось под простыней вполне отчетливо, угадывались даже черты лица, неестественно острые, что, как принято считать, свойственно всем покойникам, на самом же деле – лишь тем, кого свела в гроб долгая изнурительная болезнь. В комнате было тихо, и это позволяло полагать, что окна выходят не на улицу. Они и вправду упирались в высокий утес – дом был по существу пристроен к скале.

Когда часы на колокольне неподалеку начали отбивать девять, – так монотонно и лениво, что трудно было понять, зачем они вообще еще идут, – дверь в комнату отворилась, впуская мужчину, и тут же захлопнулась, словно сама по себе. В скважине натужно заскрежетал ключ, замок щелкнул, за дверью послышались шаги и вскоре стихли. По всему выходило, что мужчину заперли. Он подошел к столу, с минуту постоял, глядя на тело, потом дернул плечом, подошел к одному из окон и отвел штору. За окном царил темнота. Человек смахнул со стекла пыль и увидел, что снаружи окно забрано железной решеткой, вмурованной в кладку. Он осмотрел другое окно и обнаружил то же самое. Похоже, это его не удивило: он даже не стал поднимать раму. Если он и был заключенным, то вполне покладистым. Закончив осматриваться, он сел в кресло, достал из кармана книгу, придвинул конторку со свечой и погрузился в чтение.

Мужчина – смуглый, темноволосый, гладко выбритый – был довольно молод, не старше тридцати. Лицо у него было худощавое, нос с горбинкой, лоб широкий, а подбородок того типа, который принято называть волевым. Серые глаза смотрели пристально, цепко, их

обладатель явно не привык озираться по всякому поводу. Но сейчас молодой человек смотрел в книгу. Впрочем, временами он отрывался от строк и взглядывал на тело. Наверное, есть все-таки у мертвых некая таинственная притягательная сила, которой поддаются даже смелые люди. Точнее сказать, именно смелые и поддаются – робкий в такой обстановке старался бы отвернуться. Этот же смотрел на мертвеца так, будто вспоминал о нем только из-за того, что прочел в книге. Проще сказать, сторож при покойнике делал свое дело наилучшим образом: толково и без аффектации.

Через полчаса или около того он отложил книгу – наверное, дочитал главу. Потом встал, отнес конторку в угол, к окну, взял с нее свечу и вернулся к пустому камину, близ которого сидел с самого начала.

Чуть погодя он подошел к мертвецу и приподнял край простыни, открыв копну темных волос и тонкий платок на лице, под которым черты покойного казались еще более резкими. Заслонясь от света свободной рукой, он некоторое время смотрел на своего бездыханного соседа, смотрел спокойно, серьезно и с подобающей почтительностью. Опустив покров на лицо, он вернулся в свое кресло, взял с подсвечника несколько спичек и положил в карман. Потом вынул из подсвечника огарок и критически осмотрел, явно прикидывая, надолго ли его хватит. От свечи оставалось менее двух дюймов – через час ему предстояло очутиться в полной темноте. Молодой человек вернул свечу на место и задул ее.

II

В кабинете врача на Кэрни-стрит трое мужчин пили пунш и курили. Время шло к полуночи, и пунша было выпито много. Хозяину, доктору Хелберсону, было лет тридцать, его гости были моложе. Все трое были медиками.

– Суеверный ужас, с которым живой относится к мертвому, неистребим, – заявил доктор Хелберсон. – Все мы с ним рождаемся. А постыден он не больше, чем прирожденное отсутствие способностей к математике или, скажем, склонность ко лжи.

Гости рассмеялись.

– Разве человеку не пристало стыдиться заведомой лжи? – спросил самый младший, еще студент.

– Дорогой мой Харпер, я не о том. Согласитесь: склонность ко лжи – одно, а сама ложь – другое.

– Итак, вы утверждаете, – вступил в разговор третий, – будто этот суеверный, иррациональный страх перед мертвецами присущ всем без исключения? А вот я, например, ничего такого не испытываю.

– И все-таки он у вас, что называется, в крови, – стоял на своем Хелберсон. – И при определенных условиях, когда наступит, говоря словами Шекспира, «удобный миг», проявится во всю свою силу. Конечно, медики и солдаты подвержены ему менее прочих.

– «Медики и солдаты»! А почему вы не назвали еще и палачей? Тогда убийцы всех мастей были бы налицо.

– Нет, дорогой мой Мэнчер, присяжные не дают палачам так свыкнуться со смертью, чтобы не бояться ее.

Юный Харпер взял со столика сигару и вернулся в свое кресло.

– И при каких же, по вашему мнению, условиях, человек, рожденный женщиной, мог бы однозначно понять, что и он не чужд этой всеобщей слабости? – довольно витиевато спросил он.

– Ну-у... Если бы кого-то заперли на всю ночь с трупом в каком-нибудь заброшенном доме, в темной комнате, где нет даже одеяла, чтобы накрыться им с головой и не видеть своего компаньона, и он пережил бы ночь, сохранив здравый рассудок, он мог бы потом похвастаться, что не рожден женщиной и даже не добыт кесаревым сечением, как шекспировский Макдуф.

– Я уж испугался, что этим вашим условиям конца не будет, – сказал Харпер. – А я вот знаю человека, не медика и не солдата, который на пари решится на такое при всех ваших условиях.

– Кто же это?

– Его зовут Джерет. Он нездешний, приехал, как и я, из Нью-Йорка. У меня нет денег, чтобы поставить на него, но он сам выставит любой заклад.

– Почему вы так уверены?

– Так он же заядлый игрок. А что до страха, то Джерет, насколько я знаю, считает его чем-то вроде чесотки... или ереси, если угодно.

– А как он выглядит? – В вопросе Хелберсона забрезжило любопытство.

– Похож на Мэнчера, причем изрядно... Сошел бы, я думаю, за его брата-близнеца.

– Я принимаю пари, – тут же сказал Хелберсон.

– Премного вам обязан за комплимент, – пробормотал Мэнчер, который за этим разговором чуть не задремал. – А мне поставить можно?

– Только не против меня, – сказал Хелберсон. – Вас мне разорять не хочется.

– Что ж, – сказал Мэнчер, – тогда я буду мертвецом.

Хелберсон и Харпер рассмеялись.
Итог этого сумасбродного разговора нам известен.

III

Мистер Джерет задул свечной огарок, сберегая его для какого-нибудь особого случая. Возможно, он решил так: если уж темноты все равно не избежать, лучше иметь в запасе такого вот рода козырь – когда станет совсем уж неважно, свет поможет отвлечься. Или успокоиться. К тому же огарок мог пригодиться хотя бы для того, чтобы смотреть на часы.

Загасив свечу и поставив подсвечник на пол рядом с собой, он поудобнее устроился в кресле и смежил веки, собираясь вздремнуть. Но не тут-то было: уже через несколько минут Джерету стало совершенно ясно, что заснуть не удастся ничем. Что ему оставалось делать? Ведь не бродить же ощупью в темноте с риском споткнуться и упасть или, того хуже, наткнуться на стол и потревожить мертвеца. Все мы сходимся на том, что мертвым следует обеспечить покой и своего рода иммунитет от внешних воздействий. Джерету удалось убедить себя самого, что он остается в кресле и воздерживается от прогулок во тьме только в силу этих резонов.

Когда он размышлял обо всем этом, ему почудилось, будто от стола донесся какой-то звук, слабый, едва внятный. Джерет даже головы не повернул. Да и много ли было от этого толку в крошечной темноте? Вместо этого он прислушался – и тут же ощутил такое головокружение, что вцепился в подлокотники. В ушах звенело, голова буквально разламывалась, грудь словно обручем сдавило. «Что это? – мелькнула мысль. – Неужели я испугался?» Тут грудь его сама собой опустилась – он выдохнул. Джерет судорожно вдохнул, и едва легкие наполнились новым воздухом, голова перестала кружиться. Прислушиваясь, он так затаил дыхание, что чуть не задохнулся. Поняв это, он досадливо поморщился. Потом встал, отодвинул кресло коленом и сделал несколько шагов. Но темнота – не для прогулок; и Джерету тут же пришлось ощупью искать стену и дальше идти, держась за нее. Он дошел до угла, повернул, миновал окно, потом другое, но в следующем углу налетел на конторку. Она с грохотом упала – Джерет вздрогнул и тут же разозлился на себя. «Вот дьявольщина! – бормотнул он, пробираясь вдоль стены в сторону камина. – Как я мог забыть, где она стоит? Надо бы поставить ее на место».

Он пошарил по полу и, найдя свечу, зажег ее и первым делом посмотрел на стол. Там, конечно, все было по-прежнему. Что до конторки, то она так и осталась валяться на полу – Джерет позабыл «поставить ее на место». Он внимательно осмотрел комнату, поднося свечу к тем местам, где залегали особенно густые тени, потом подошел к двери и попытался открыть ее, крутя и дергая ручку. Дверь не поддавалась, и это даже успокоило его. Тут Джерет увидел засов, которого раньше не заметил, и запер дверь еще надежнее. Вернувшись в кресло, он достал часы – стрелки показывали всего половину десятого. Джерет удивился и поднес часы к уху. Они исправно шли. А вот огарок стал заметно короче. Он снова задул его и поставил подсвечник на прежнее место.

Мистер Джерет дернул плечом. Ситуация не нравилась ему, не нравились и собственные страхи. «Чего тут страшного? – уговаривал он себя. – Бояться просто нелепо, даже стыдно. В конце концов, я же разумный человек». Но оттого, что вы пообещаете себе не поддаваться страху, смелости не прибавится, и чем гневливее Джерет упрекал себя, тем больше давал оснований для упреков. Чем убедительнее он доказывал себе, что мертвый просто не может быть опасен, тем сильнее восставали против этого все его чувства.

– Надо же! – воскликнул он, вконец растерявшись. – Ведь я никогда не был суеверным... и в бессмертие души не верю... и знаю, причем сейчас даже лучше, чем когда-либо, что загробная жизнь – всего лишь мечта, фикция... Неужто я проиграю пари, стану посмешищем, перестану уважать себя, а то и рассудок потеряю, только потому, что мои дикие

предки, которые и жили-то в пещерах и норах, сдуру верили, будто мертвые встают по ночам?.. Будто...

И тут Джерет услышал за спиной легкие, но вполне отчетливые шаги – кто-то приближался, неспешно и неумолимо!

IV

Солнце еще не поднялось, когда доктор Хелберсон со своим другом, юным Харпером, ехали в коляске по улицам Норт Бич.

– Ну что, мой молодой друг? Вы все еще убеждены, что ваш приятель исключительно смел или, вернее сказать, на редкость толстокож? – спросил доктор. – Все еще надеетесь, что я проиграл?

– Более того: знаю это наверняка, – с подчеркнутой убежденностью ответил Харпер.

– Что ж, пожалуй, я и рад бы был проиграть, – очень серьезно, почти торжественно, сказал доктор.

Какое-то время оба молчали, потом доктор заговорил:

– Вся эта история не так проста, как вы думаете, Харпер. – В тусклом свете уличных фонарей, мимо которых они проезжали, лицо его казалось очень значительным. – Этот ваш приятель задел меня за живое: уж больно презрительно он глянул на меня, когда я сказал, что страх не чужд и ему – хотя чувство это врожденное и стыдиться его не стоит, – и уж больно нагло потребовал, чтобы ему предоставили труп медика. Да, задел за живое, а то бы я не зашел так далеко. Ведь случись что-нибудь – нам с вами конец. И поделом, надо признаться.

– А что может случиться? Уж если дело примет дурной оборот, – чего, по-моему, не стоит опасаться, – Мэнчер просто «воскреснет» и все объяснит Джерету. Будь на его месте настоящий труп, из прозекторской, или кто-то из ваших почивших пациентов, дело обстояло бы куда как серьезнее.

Доктор Мэнчер, как следовало из слов Харпера, сдержал-таки обещание и прикинулся мертвецом.

Хелберсон долго молчал, коляска же тем временем медленно ехала по той же улице, где уже проезжала раза два или три.

– Что ж, – сказал он наконец, – будем надеяться, что Мэнчер, если ему пришлось «воскреснуть», вел себя осмотрительно. В такой ситуации легче напортить, чем поправить.

– Да уж, – согласился Харпер. – Джерет ведь и зашибить его мог. Но взгляните... – Он посмотрел на часы, когда коляска проезжала мимо очередного фонаря. – Скоро четыре.

Через минуту-другую они вышли из коляски и быстрым шагом пошли к заброшенному дому, который, надо сказать, принадлежал доктору. Именно там по условиям пари был заперт Джерет. Почти тут же навстречу им выбежал мужчина.

– Вы не знаете, где тут можно найти врача?! – крикнул он еще издали.

– А в чем дело? – поинтересовался Хелберсон.

– Пойдите и посмотрите сами, – ответил мужчина и побежал дальше.

Они прибавили шаг. Подойдя к дому, они увидели, что туда один за другим входят люди и что все они изрядно взволнованы. В соседних домах и в домах напротив окна были распахнуты, из них смотрели любопытные. Все наперебой о чем-то спрашивали друг друга, но ответа, похоже, не получали. Свет был и в тех окнах, которые оставались занавешенными: наверное, там одевались, собираясь выйти на улицу. Прямо напротив заброшенного дома стоял фонарь, освещая всю сцену тусклым желтоватым светом. Казалось, он намекал, что мог бы порассказать много чего, если бы захотел. Харпер, без кровинки в лице, задержался у входа и тронул друга за локоть.

– Похоже, дело плохо, доктор, – шуточный тон не мог скрыть, что он очень встревожен. – Доигрались мы с вами. По-моему, не стоит нам туда соваться.

– Я врач, – спокойно ответил ему Хелберсон, – и могу понадобиться в профессиональном качестве.



Они поднялись на крыльцо и остановились. Дверь была открыта. В холле было полно людей. Самые везучие заняли лучшие места: на площадке второго этажа и на лестнице, прочие толпились у подножия лестницы, не оставляя, однако, попыток протолкаться наверх. Все гомонили, никто не слушал других. Но вдруг сверху послышался шум, и на лестницу выскочил какой-то человек. Его пытались удержать, но не тут-то было: он буквально смел с лестницы опешивших зевак – одни отлетели к стене, другие удержались на ногах лишь потому,

что вцепились в перила. Дороги он не разбирал, топча тех, кто имел несчастье упасть, да еще и молотил кулаками направо и налево. Шляпы на нем не было, одежда – в полном беспорядке, а его безумный взор внушал еще больший ужас, чем нечеловеческая сила. Лицо было мертвенно бледным, волосы – снежно-белыми.

Люди, стоявшие в холле, расступились, чтобы пропустить его, и тут вперед выступил Харпер.

– Джерет! Джерет! – крикнул он, но Хелберсон ухватил его за ворот и оттащил.

Мужчина глянул на приятелей, явно не узнавая, и тут же исчез за дверью. Тучный полицейский, которому спуск по лестнице дался не так легко, тоже выбежал на улицу и кинулся вдогонку. Женщины и дети, глядящие из окон, кричали, указывая, куда подался беглец.

На лестнице почти никого не осталось – толпа вывалилась на улицу посмотреть погоню; Хелберсон же с Харпером поднялись на верхнюю площадку. Там путь им заступил еще один полисмен.

– Мы врачи, – объявил доктор, и полисмен их пропустил.

В комнате было полно народу, все столпились у стола. Приятели протолкались вперед и заглянули через плечи людей, стоявших в первом ряду. На столе в свете фонаря, который держал один из полицейских, лежало тело, прикрытое простыней. Фонарь выхватывал из мрака только труп и тех, кто стоял у него в головах, все прочие тонули во тьме. При взгляде на желтое лицо мертвеца любого охватил бы ужас: глаза под полуприкрытыми веками закатились, челюсть отвисла, а на губах, подбородке и щеках засохли клочья пены! Над телом, держа руку у него на груди, склонился высокий мужчина, наверное, врач. В следующую минуту он положил два пальца в открытый рот мертвеца.

– Этот человек умер часов шесть назад, – сказал он. – Нужно вызвать coronera.

Потом достал визитную карточку, вручил ее полисмену и пошел к двери.

– Очистить помещение! – гаркнул полисмен, поднимая фонарь над головой.

Мертвец вдруг канул в темноту, он пропал, словно его и не было на столе. Полицейский направил фонарь на любопытных, его луч освещал то одно лицо, то другое. Это подействовало, да еще как! Ослепленные ярким светом, испуганные люди метнулись к двери, пихаясь и отталкивая друг друга, – так бегут ночные призраки от лучей Феба. Полицейский безжалостно хлестал лучом фонаря эту бесформенную кучу. Этот клубок мигом вынес Хелберсона и Харпера на улицу.

– Господи, доктор, говорил же я, что Джерет его зашибет, – сказал Харпер, едва они выбрались из толпы.

– Да, помнится, говорили, – довольно спокойно ответил Хелберсон.

Несколько кварталов они миновали молча. На востоке уже ясно различались силуэты домов на холмах. По улице проехала тележка молочника, пробежал разносчик газет. Вот-вот должен был отправиться в свой путь посыльный из булочной.

– Я думаю, мой молодой друг, что наша утренняя прогулка подзатянулась, – сказал доктор. – А для здоровья это вредно. Хорошо бы нам с вами сменить обстановку. Как вы относитесь к плаванию в Европе?

– Когда?

– Все равно. Мне думается, если мы выедем в четыре пополудни, будет еще не поздно.

– Увидимся на пароходе, – заключил Харпер.

V

Прошло семь лет. Приятели сидели и разговаривали на скамье нью-йоркского Мэдисон-сквера. Некий человек – перед тем он какое-то время неназойливо наблюдал за нашей парой – подошел и учтиво приподнял шляпу, открыв снежно-белые волосы.

– Извините меня, джентльмены, – сказал он, – но не кажется ли вам, что человеку, который умертвил другого тем, что восстал из мертвых, лучше всего поменяться с мертвым одеждой и при первой же возможности удрать подальше.

Хелберсон и Харпер многозначительно глянули друг на друга, – такое начало разговора развлекло их. Хелберсон с улыбкой посмотрел на нежданного собеседника и ответил:

– Совершенно с вами согласен. Равно как и насчет...

Тут он запнулся и побледнел. Он вытаращился на незнакомца и даже рот открыл от изумления. Потом вздрогнул.

– О-о! – воскликнул тот. – Похоже, доктор нездоров. Ну, если вы не можете исцелиться сами, доктор Харпер наверняка поможет вам.

– Кто вы, черт бы вас побрал? – грубо спросил Харпер.

Незнакомец подошел вплотную к ним, наклонился и шепнул:

– Порой я называю себя Джеретом, но вам по старой дружбе скажу правду: я доктор Уильям Мэнчер.

Услышав это, Харпер вскочил на ноги.

– Мэнчер! – воскликнул он.

– Клянусь, он самый! – отозвался Хелберсон.

– Да уж, – сказал третий со странной улыбкой, – он самый, вне всяких сомнений...

Он умолк, словно пытаясь припомнить что-то, потом замурлыкал модный мотивчик. Казалось, он забыл о Хелберсоне и Харпере.

– Слушайте, Мэнчер, – попросил Хелберсон, – вы можете рассказать, что случилось той ночью ну, с Джеретом. Помните?

– А-а, с Джеретом, – протянул тот. – Странно, что вы не знаете... я ведь об этом часто рассказываю. Видите ли, я слышал, как он говорил сам с собой, и понял, что он изрядно напуган. И мне стало невтерпеж воскреснуть и покуражиться от души, ну просто невтерпеж. Ну, я и воскрес. Не мог же я подумать, что он отнесется к этому так серьезно... просто не мог подумать. Потом пришлось его одевать... дело, знаете ли, не из самых легких. К тому же, вы ведь нас заперли, черт вас возьми!

Последние слова он буквально пролаял. Приятели даже отшатнулись.

– Мы? Но... н-но... – Самообладание изменило Хелберсону. – Но мы-то тут при чем?

– Разве вы не доктора Хелборн и Шарпер¹? – вдруг просияв, спросил мужчина.

– Да, меня зовут Хелберсон, а этого джентльмена – Харпер, – ответил доктор, которого улыбка Мэнчера чуть успокоила. – Но мы давно не врачи, скорее... да, мы – игроки, друг мой.

Это была сущая правда.

– Отменное занятие, просто отменное. Надеюсь, Шарпер как честный игрок заплатил за Джерета? Да, хорошее занятие, хорошее и почтенное... – задумчиво повторил он и отвернулся, – А я вот держусь прежней профессии. Я – главный врач сумасшедшего дома в Блумингдейле. Надзираю за надзирателем.

¹ Хелборн (англ.) – порождение ада, Шарпер (англ.) – игрок, склонный передергивать (Прим. перев.).



Мужчина и змея

I



Известно доподлинно и подтверждаемо немалым числом очевидцев, которых не станут оспаривать люди мудрые и ученые, что змеиное око наделено особой притягательностью, и ежели некто злосчастный подпадет под таковую притягательность, погибнуть тому неминуемо, ибо оный гад уязвит его.

Прочитав эту истину в потрепанном томе «Чудес науки» Морристера, Харкер Брайтон, лежавший на диване в халате и домашних шлепанцах, улыбнулся. «Чудеснее всего то, — подумалось ему, — что в те времена люди мудрые и ученые верили в такую отчаянную чушь, от которой нынче воротят носы даже полные невежды». Поскольку Брайтон был человеком вдумчивым, за этой мыслью последовала череда других. Рука его с книгой сама собой опустилась, взгляд уперся в пространство. Но едва книга ушла из его поля зрения, он заметил в полутемном углу комнаты, где стояла кровать, нечто странное: там блестели две точки, примерно в дюйме одна от другой. Подумав походя, что это, наверное, шляпки гвоздей поблескивают в свете газового рожка, он снова обратился к чтению. Но уже через секунду какой-то неосознанный импульс заставил его опустить книгу и найти взглядом то самое место. Точки были все там же, но ему показалось, что блестят они ярче. Кроме того, теперь он заметил у блеска зеленоватый оттенок. А еще ему показалось, будто они чуть переместились, приблизились к дивану, на котором он лежал. Но при этом они оставались в глубокой тени, поэтому он по-прежнему не мог толком определить ни откуда они взялись, ни что такое собой представляют. Он снова взялся за книгу, но прочел в ней нечто такое, от чего вздрогнул и в третий раз отвел взгляд от страницы. Книга выскользнула из руки Брайтона и упала на пол кверху переплетом, а сам он, приподнявшись на локте, глянул в темноту под кроватью. Ему показалось, что точки блестят гораздо ярче. На этот раз они полностью завладели его вниманием, и он впери в темноту напряженный, настойчивый взгляд. И рассмотрел под изножьем кровати большую змею, свернувшуюся кольцами. Это ее глаза поначалу показались ему блестящими точками. Гнусная плоская голова лежала на внешнем кольце и обращена была в сторону Брайтона. Грубые, угловатые очертания нижней челюсти и приплюснутый лоб не

оставляли сомнений в том, на кого она смотрит. Теперь эти глаза уже не казались просто блестящими точками; змея смотрела на него, и во взгляде ее ясно читалась ненависть.

II

К счастью, змея в спальне современного городского дома не такой уж частый гость, чтобы можно было обойтись безо всяких разъяснений. Харкер Брайтон – холостяк тридцати пяти лет от роду, человек редкого здоровья и изрядной начитанности, богатый и не занимающийся ничем, кроме, разве что, спорта, любимец и баловень общества – возвратился в Сан-Франциско после странствий по землям дальним и малоизвестным. Благодаря испытаниям последних лет, Брайтон – и раньше весьма переборчивый, – так изощрил свои вкусы, что даже отелю «Кастл» оказалось не по силам удовлетворить их в полной мере. Вот поэтому он с удовольствием принял дружеское приглашение доктора Друринга, известного ученого, пожить у него. Большой старомодный особняк доктора Друринга стоял в той части города, которая некогда, причем довольно давно, считалась фешенебельной. Всем своим видом он олицетворял этакую гордую отчужденность. Казалось, он любой ценой старался выделиться среди окружающих строений. Как и у всякого отшельника, водились у него и чудачества; одним из них можно было считать так называемое «крыло», никак не вяжущееся с его архитектурой. Использовалось «крыло» тоже нетривиально: оно служило доктору и лабораторией, и зверинцем, и музеем.

Именно здесь доктор всецело отдавался своим научным пристрастиям, интересам и вкусам, каковые были всецело посвящены низшим организмам. Представители же видов, стоящих выше на лестнице эволюции, должны были обладать хотя бы рудиментами, роднящими их с «первобытными драконами», то есть жабами и змеями. Доктора более всего привлекали рептилии – в природе он ценил вульгарность, а себя частенько называл «Эмиль Золя от зоологии». Супруга и дочери доктора Друринга не были с ним солидарны в стремлении узнать как можно больше о жизни и повадках наших пресмыкающихся и земноводных сопланетников, а потому сурово и непреклонно изгонялись из помещения, которое доктор величал Змеилищем. Им приходилось довольствоваться компанией себе подобных, и доктор, чтобы хоть как-то компенсировать такой ущерб, выделял им изрядную часть своего значительного состояния, так что жилось им по части комфорта куда как лучше, чем гадам.

И в архитектуре, и в обстановке Змеилища царил суровая простота, что вполне соответствовало образу жизни его насельников – ведь большинству из них нельзя было предоставлять свободу передвижения, без которой тщетна любая роскошь. Дело было в том, что насельники эти обладали не вполне удобной особенностью: все они были живыми. Впрочем, свобода их ограничивалась в самой необходимой степени и лишь затем, чтобы помешать им пожирать друг друга, как это водится в природе. Брайтона предупредили, что некоторые пансионеры Змеилища иногда заползают-таки в самые неожиданные уголки дома. Бывало это не так уж редко, и все к этому давно привыкли. Но Брайтона гостеприимный дом доктора Друринга вполне устраивал, а близость змеюшника не вселяла в его душу ни малейшей тревоги.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.